

Maks Brink

Сладкая Пустота

СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

18+

Maks Brink
Сладкая Пустота

«Автор»

2026

Brink M.

Сладкая Пустота / М. Brink — «Автор», 2026

«Меня зовут Алина. Когда-то меня любили миллионы. Теперь не помнит даже отражение. После скандала, бана и измены Андрея я заключила контракт с Лиром — Эхо типа Синт. Он питается желаниями, а я получила способность внушать чужие эмоции. Цена? Мои чувства испарились, а лицо поплыло. Лир научил терпеть боль и управлять желаниями. Я отомстила менеджеру. Но главная угроза — Вера, у которой три Эхо. Она хочет разорвать Пелену, и тогда неконтролируемые твари наводнят Астарию. Появился Данила, носитель Корня. Он исцеляет эмоциональные раны, принимая чужую боль на себя. Он предлагает второй контракт — с Корнем — чтобы усилить меня. Но предупреждает: это убьёт или превратит в монстра. Я потеряла всё: подписчиков, любовь и свое лицо. Что мне терять дальше?»

© Brink M., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Пролог	5
Глава 1 Тишина В Сети	9
Глава 2 Первый Глоток	15
Глава 3 Пепел	32
Конец ознакомительного фрагмента.	41

Maks Brink

Сладкая Пустота

Пролог

Астария, подземка. Полночь.

Вагон метро пахнет озоном, потом и страхом. Это особый запах - не тот, который бывает в час пик, когда люди давятся в дверях, потеют в пуховиках и ненавидят друг друга молча. Нет. Это запах пустого поезда, который движется по "синей ветке" в половину двенадцатого ночи. Озон - от тормозных колодок. Пот - от единственного пассажира, который вцепился в кейс и молится, чтобы никто не зашел. И страх - липкий, сладковатый, как перезрелая хурма.

Обычно в это время "синяя ветка" почти пустая, только - пьянчуги, курьеры с термосумками и те, кто боится засыпать дома. Но сегодня - другой случай. Поезд выныривает из тоннеля, и на "Королевской площади" двери открываются с характерным шипением. Внутри заходит девушка, вагон вздрагивает, не физически - метро как метро, рельсы старые, колеса стучат на стыках. Вздрагивает что-то внутри. Та самая тонкая грань, которую в Астарии после Разрыва 2012 года научились замечать, но бояться называть вслух. На девушке белое пальто, слишком светлое для ноября. Слишком чистое для подземки, где на полу разлито пиво и кто-то раздавил окурок. Пальто не касается грязи — оно висит в сантиметре от поверхности, как будто Астария перестала для него существовать.

На плечах — капли воды. Мелкие, как роса. Будто она шла сквозь туман, а тумана в Астарии не бывает в это время года. В ноябре здесь либо снег с дождём, либо просто дождь, который пронизывает до костей. Она садится напротив единственного пассажира — мужчины лет сорока пяти, в дорогом чёрном пальто с кашемировым шарфом. Бизнесмен. Возвращается с переговоров — или не с переговоров, бог его знает, но кейс у него кожаный, итальянец, часы «Омега», обручальное кольцо — паутинка царапин, значит, носит не снимая. Он поднимает глаза от телефона, и замирает. У девушки нет лица. Не в том смысле, что оно стёрто, размыто либо скрыто за маской. Там, где должны быть черты - брови, нос, губы, ресницы - находится гладкая, серая поверхность, как у манекена из подвального магазина. Но она дышит, живёт. Под блеклой кожей пульсируют синеватые прожилки, и когда она поворачивает голову, складки пальто движутся так, как не могут двигаться ткани, сшитые человеком.

Бизнесмен хочет закричать, но не может, горло сжало невидимой рукой - холодной, скользкой с пальцами, которых не существует в природе. Он пытается вдохнуть, но не получается. Воздух становится густым, как патока.

- Не бойся, - говорит девушка.

Голос идёт не из головы. Источник звука — грудная клетка: низкий, вибрирующий, с двумя тонами одновременно, как будто говорят два человека, сложившие губы в одну трубу. В этом голосе нет утешения. Есть констатация факта, как у врача, который сообщает диагноз.

— Я не причиню тебе боли. По крайней мере, физической. Я просто хочу показать тебе, что скрыто под вашей драгоценной реальностью.

Она поднимает правую руку. С пальцев стекают нити. Ни свет, ни тьма, ни дым. Нечто среднее — серое, полупрозрачное, холодное. Они тянутся к бизнесмену, к стенам вагона, к камерам наблюдения, которые висят под потолком и смотрят на мир мёртвыми стеклянными глазами. Нити проникают в динамики, в провода, в стальные поручни. В зеркальной поверхности напротив — там, где обычно пассажиры видят свои усталые лица, — появляется отражение. Но оно не совпадает с тем, что сидит на скамейке. В зеркале не женщина в белом пальто. В зеркале — **нечто**.

Серая, аморфная масса, которая дышит и пульсирует, как медуза, выброшенная на берег. Из массы торчат сотни рук — женских, мужских, детских, костлявых, пухлых, чёрных, белых. Каждая рука застыла в разном жесте. Одна просит подаяние. Другая угрожает кулаком. Третья гладит лицо. Четвёртая сжимает горло — невидимое, но от этого не менее реальное. Руки шевелятся, медленно, как черви в банке.

— Ты думаешь, Эхо — это демоны из старых сказок, — продолжает девушка. Её безликая голова поворачивается к бизнесмену, и он чувствует, что его сканируют — от макушки до пяток, до последней клетки. — Нет. Мы — ваши забытые желания. Ваши передозы адреналина. Ваши ночи, когда вы ненавидели себя так сильно, что ткань мироздания дала трещину. Вы рождаете нас каждую секунду, когда врётесь себе, что счастливы.

Она сжимает пальцы в кулак. И воздух в вагоне *ломается*. Нет — это не звук. Это чувство. Как будто кто-то сложил реальность пополам, как лист бумаги, и провёл ногтем по сгибу. Тихий, мокрый хруст — такое издаёт лёд на луже, когда наступаешь в январе. Только здесь лёд — это пространство между сиденьем и потолком, между полом и колесей, между кожей бизнесмена и его костями. Трещина растёт. Серый разлом в воздухе, который светится изнутри неоновом-сиреневым. Он напоминает шрам на теле города. И из этого шрама лезут **они**.

Первым выпадает Синт.

Он не имеет пола, возраста или формы, которую можно описать словами. Это движение — перетекающая, скользкая субстанция, которая переливается всеми цветами бензиновой плёнки: фиолетовый, синий, зелёный, золотой. Синт парит над полом, и каждый его жест — это обещание, соблазн, ложь. Он касается поручня, и металл покрывается инеем. Он дышит, и в вагоне становится жарко.

За ним — Ржавь.

Это не человек. Это клубок из ржавых проводов, битого стекла, обломков бетона и старой, засохшей ненависти. Ржавь ползёт по полу, оставляя за собой бурые пятна, похожие на кровь. Она пахнет перегаром, мочой и смертью — запах подворотен Астари, запах районов, о которых не говорят в новостях.

Потом — Шёпот.

У него нет формы вообще. Только голоса. Сотни голосов, которые звучат одновременно на разных языках — русском, английском, немецком, китайском, и ещё на двух, которые бизнесмен не может опознать. Каждый голос произносит одну фразу. Чью-то тайну. Украденную из телефона. Подслушанную через стенку. Вырванную из зашифрованного чата.

«Я не люблю свою жену». «Я удалил историю браузера, но не всю». «Мой бизнес держится на взятках». «Я боюсь, что меня разоблачат».

Бизнесмен узнаёт свой голос среди этих голосов. Тайна, которую он никогда никому не говорил. Его начинает трясти.

— Посмотри на них, — говорит девушка-без-лица. Она поднимается с сиденья и делает шаг к центру вагона. Эхо расступаются перед ней, как море перед Моисеем. — Это то, что станет с вашим городом, если никто не возьмёт управление в свои руки. Хаос. Эхо будут жрать ваши эмоции, пока вы не станете овощами. Они будут кормиться страхом, похотью, яростью, пока от вас не останутся пустые оболочки.

Она замолкает. Её безликая голова поворачивается к камере наблюдения.

— А ваше правительство? Их отдел «Гармонизации» при ФСБ? Они только делают вид, что контролируют Пелену. Они сами подписали контракты с Эхо. Просто прячут это под грифом «Секретно».

Она поднимает обе руки над головой. Белое пальто распаивается, и под ним — не тело. Под ним — звёздное небо. Нет, не то, что видят люди, поднимая голову в безлунную ночь. Это хаотичное месиво из сломанных геометрических фигур, глаз, ртов, пальцев и чего-то, для чего в человеческом языке нет названия.

— Но я не хочу хаоса, — говорит девушка. — Я хочу чистого разрыва. Чтобы Пелена стала реальностью. А реальность — Пеленой. Чтобы люди и Эхо жили в одном слое. Равные. И чтобы ваша раса наконец перестала врать себе, что вы — венец природы. Вы — просто скот, который научился пользоваться смартфонами.

Эхо вокруг неё начинают вибрировать на одной частоте. Синт гладит её по плечу, оставляя на белом пальто следы из золотой пыли. Ржавь обвивает её ноги, и ржавые провода впииваются в кожу, но крови нет — только серая, тягучая субстанция, похожая на смолу. Шёпот шепчет ей одобрение, и сотни голосов сливаются в один аккорд.

— Меня зовут Вера, — представляется она. — И я подписала контракт с каждым типом Эхо. Ржавь дала мне силу разрушать границы между мирами. Синт — управлять желаниями других людей. Шёпот — знать все тайны, которые когда-либо были прошептаны, напечатаны или продуманы. А Корень...

Она замолкает. Впервые в её голосе проскальзывает что-то человеческое. Боль или, может быть, стыд.

— Корень я убила, — заканчивает она. — Потому что настоящая любовь делает нас слабыми. А я не могу быть слабой. Никогда больше.

Она касается пальцами серой трещины. Пальцы погружаются в неё, как в воду, и выходят обратно, покрытые серебристой слизью. Сегодня это просто трещина — сантиметров двадцать в длину, с неровными краями. Но завтра она станет шире. Через неделю — в неё можно будет просунуть руку по локоть. А через месяц — это будет дверь. Дверь, через которую Пелена хлынет в Астарию, и ни один отдел «Гармонизации» не сможет её заткнуть.

Поезд тормозит. Колёса визжат по рельсам. Двери открываются на станции «Форумная». Девушка выходит. Эхо следуют за ней, как ручные звери — Синт скользит рядом, Ржавь ползёт по полу, Шёпот клубится облаком голосов.

В вагоне остаётся бизнесмен. Он сидит, уставившись в одну точку на потолке. Его глаза — молочно-белые, без радужки, без зрачка. Он не моргает. Не дышит? Дышит — но едва-едва, как кукла, у которой садятся батарейки.

На полу, рядом с раскрытым кейсом, лежит лист бумаги. Не тот, что выпал — тот, что вылетел отдельно, сам собой, как будто кто-то вырвал его из папки невидимой рукой. На листе напечатано:

«Контракт 0. Носитель: Вера. Статус: Активен. Особые условия: Носитель заключил соглашение с четырьмя типами Эхо (Синт, Ржавь, Шёпот, Корень — статус последнего: аннулирован). Цена: утрата собственной личности в обмен на полный контроль над Пеленой. Прогноз: полное замещение личности через 11 месяцев».

Внизу — приписка от руки. Крупным, нервным почерком, с нажимом, который прорвал бумагу в трёх местах:

«Они думали, что сила — это дар. А это зависимость. И я хочу передоз».

Свет в вагоне мигает.

Раз. Два. Три.

На третьем мигании — гаснет совсем.

Темнота длится десять секунд. Потом аварийное освещение включается снова, тусклое, оранжевое, как свет в холодильнике.

Бизнесмен исчез.

На сиденье осталось только белое пятно, похожее на соль, и три капли серой слизи, которая медленно впитывается в обивку. Камеры наблюдения мигают красными индикаторами — они записали всё. Но через час кто-то из отдела «Гармонизации» придёт, посмотрит запись и нажмёт «удалить навсегда».

Поезд закрывает двери и уезжает в тоннель.

Станция «Форумная» пустеет. Только эхо шагов по бетону — и настоящий Шёпот, который остался здесь навсегда, потому что в Астории больше нет мест без камер, без микрофонов, без свидетелей.

Вера идёт вверх по эскалатору, и её белое пальто светится в темноте, как маяк. Эхо растворяются в воздухе, но не исчезают. Они ждут. Все они ждут.

Глава 1 Тишина В Сети

Моя квартира пахнет несвежим постельным и энергетиками «Взлёт». Это специфический запах человеческого разложения, которое ещё не трупное, но уже не живое. Знаете, как пахнет комната, где человек неделю не открывал окна, ел только дошик и плакал в подушку так сильно, что соль въелась в ткань? Вот это оно. Плюс сладковатая вонь от банок с энергетиком, которые я не выносила уже три дня. Андрей, мой парень, говорит, что я драматизирую. Но он не живёт в моей голове.

Я сижу на продавленном диване, смотрю в потолок и уже два часа не могу заставить себя почистить зубы. Это странное состояние — когда ты понимаешь, что нужно встать, пойти до ванной, выдавить пасту, но твоё тело весит тонну. Каждая кость налита свинцом. Каждая мысль — как попытка пробить бетонную стену лбом. Я моргаю. Раз. Два. Три. Потолок не меняется. Трещина в левом углу всё так же похожа на карту материков, если присмотреться. Телефон молчит уже четвёртый день.

Четыре дня, девяносто шесть часов, пять тысяч семьсот шестьдесят минут. Без единого уведомления. Без лайка. Без комментария. Без «привет, как ты». Без «Алина, ты богиня». Без «дай ссылку на приват». Тишина.

Раньше мой телефон вибрировал каждые тридцать секунд. Я была инфлюенсершей, чёрт возьми. Пятьдесят тысяч подписчиков в телеграм-канале, двадцать в инстаграм (до того, как его заблокировали в России), стримы на «Twitch» по три раза в неделю. Я могла выложить фото своего завтрака — и получить тысячу сердечек за пять минут. Могла сказать «доброе утро» в эфир — и мне слали донаты с сообщениями «ты мой лучик». Я привыкла, что мир вращается вокруг меня хотя бы в этих маленьких экранах.

А потом меня забанили на всех платформах за один день.

Потому что кто-то слил запись, где я рыдаю в прямом эфире и прошу не пихать мне в лицо член.

Это был не стрим. Это был приватный разговор с менеджером, который менял условия контракта и требовал «больше откровенности». Он сказал: «Если не согласишься на эротический контент, найдём другую девочку». Я расплакалась. Не потому что я слабая. Потому что я вложила в этот канал три года жизни. Потому что за этими цифрами стояли люди, которые писали мне «ты помогаешь мне не сойти с ума». Потому что я не хотела быть просто куском мяса с голосом.

Запись смонтировали так, будто я рыдаю из-за того, что мне отказали в деньгах. Чат тогда написал: «актриска», «пиар ход», «сама напросилась», «убейся об стену, и еще большое количество нецензурных выражений. Три тысячи комментариев. Ноль солидарности. Сейчас я даже не могу заставить себя ненавидеть этих людей. Не могу заставить себя вообще что-либо чувствовать. Эмоции — это роскошь, которую моя психика отключила, как ненужный электроприбор. Осталась только серая, тягучая, липкая пустота. Она заполняет грудную клетку, как бетон. Дышать можно, но каждый вздох — через силу.

— Алин, ты есть будешь? — из кухни высовывается Андрей. Мой парень. С которым я живу уже полгода. Который сказал, что поддержит меня после бана, но каждое утро уходит на работу, а возвращается с запахом чужих духов. Я нюхала их на воротнике его рубашки. «Шанель 5». Классика. Я пользуюсь «Kenzo». Мы даже пахнем по-разному теперь.

— Не хочу.

— Ну как хочешь. — Он убирает голову обратно. Через минуту я слышу, как его ложка стучит о край тарелки. Он ест мой любимый рамен, который сам же принес вчера, но даже не удосужился спросить меня, хочу ли я попробовать. Раньше он кормил меня с ложки, носил на руках, целовал мои ноги, смотрел на меня так как будто я была произведением искусства.

А сейчас, он смотрит сквозь меня. Я закрываю глаза. Внутри — вата. Сегодня утром я взвесилась: минус шесть килограммов за три недели. Еда не лезет. Appetit умер где-то между третьим днём бана и моментом, когда я увидела, как Андрей лайкает фото своей бывшей. Он думал, я не замечу? Я замечаю всё. Я привыкла анализировать чаты, привыкла видеть паттерны. Это работа стримера — читать людей за секунды.

Раньше, когда я запускала стрим, мир был цветным. Я надевала яркую футболку, наносила светящиеся хайлайтеры, включала кольцевую лампу — и мир преображался. Чат летел со скоростью пулемёта, донаты звучали как поцелуи. «Алина, ты богиня», «выйди за меня», «какие сиськи». Я смеялась, играла роль, получала дофаминовые уколы каждые тридцать секунд. Это была зависимость чище любого наркотика. Одна донация в сто рублей давала больше счастья, чем оргазм.

Потом пришел менеджер, после - бан и тишина. И сейчас, сидя на диване, я вспоминаю тот момент, когда все сломалось. Флешбэк включается без спроса.

Офис менеджера. Кожанное кресло, пахнет перегаром и амбициями. Менеджер — мужчина под сорок, с перстнем на мизинце — листает контракт.

— Ты уже не девочка, Алина. Двадцать лет — это пенсия для твоего формата. Нам нужно больше взрослого контента.

— Я не снимаю порно.

— А кто говорит про порно? Просто эротика. Обнажёнка в сториз. Стримы в белье. Ты же красивая, чего стесняться?

— Я стесняюсь не тела. Я стесняюсь того, что это станет всем, чем я буду. Он засмеялся. Я запомнила этот смех — плоский, как у робота.

— Ты уже никто, Алина. Тебя заменят через неделю. Подписывай или уходи.

Я ушла, и после жалела об этом каждую секунду последние три месяца. Андрей тогда был в чате. Он писал: «Ты особенная. Не продавайся». Мы встретились через неделю. Он казался другим — внимательным, заботливым, он слушал мои истории о стримах и не зевал. Я повелась. Глупая. Потому что через месяц он перестал слушать. Через два — перестал смотреть. Через три — начал возвращаться с запахом «Шанели».

Сейчас я даже не могу найти силы, чтобы его выгнать. Потому что без него — пустота. А с ним — просто пустота с запахом чужих духов. Это странное уравнение, в котором минус на минус не даёт плюс, а даёт ноль.

— Я спать, — говорит Андрей, проходя мимо дивана. Даже не останавливается. — Ты свет выключи.

Он идёт в спальню. Дверь закрывается. Щёлкает замок. Сердце пропускает удар — нет, не от ревности. От привычки. Раньше он оставлял дверь открытой. Раньше он звал меня с собой. Я остаюсь одна в гостиной, где на стене всё ещё висит кольцевой светильник. Пыльный, тёмный, с перегоревшими лампочками. Он похож на доску для спиритических сеансов — или на портал в никуда.

Я пялюсь на него десять минут. Потом на телефон. Ноль уведомлений. Чат с подписчиками, где раньше было по двести сообщений в час, сейчас пуст, как моя грудная клетка.

И тут я слышу шёпот.

Сначала думаю, что это у меня в голове. Признак шизофрении — знакомый голос из пустоты. У моей тётки была шизофрения, она слышала, как соседи обсуждают её заживо. Может, моя очередь? Я щипаю себя за предплечье. Больно. Значит, не сон.

Шёпот повторяется.

Он идёт из ванной. Точнее, из зеркала, если верить моим ушам. Я не верю им, но ноги сами поднимают меня с дивана. Они не спрашивают разрешения. Они просто идут, потому что внутри впервые за много дней что-то шевельнулось.

Любопытство. Сука, какое же это сладкое чувство.

Звук приближается. Он напоминает несколько голосов, сложенных в один — как будто целый хор говорит хриплым шёпотом одновременно. Низкий, вкрадчивый, он просачивается сквозь щели закрытой двери ванной, сквозь замочную скважину, сквозь вентиляцию.

«Ты так хочешь, чтобы тебя заметили. Так устала быть невидимой.»

Сердце теперь колотится по-настоящему. Я должна испугаться. Должна выбежать, разбудить Андрея, вызвать ментов. Но я не делаю ничего из этого. Потому что страх — это тоже эмоция, а эмоции последние дни были для меня недоступны. И вдруг — вот они. Адреналин, тревога и почему-то надежда.

Я открываю дверь ванной.

Ванная маленькая, как в большинстве хрущёвок. Кафель в жёлтых разводах — бывшие хозяева курили в помещении, и никотин въелся в стены. Зеркало над раковиной — обычное, дешёвое, из «Леруа Мерлен», в пластиковой раме, которая уже начала отслаиваться. Я смотрелась в него сотни раз, ненавидя себя. Сейчас в нём нет моего отражения. Вместо меня — серая дымка. Она движется, как ртуть, перетекая от края к краю. Внутри дымки — глаза. Сотни глаз. Разного размера, разного цвета, но все с одинаковым выражением — голодным, оценивающим, почти животным.

Они смотрят на меня. Все. Я должна закричать. Вместо этого шепчу:

— Кто ты?

«Я тот, кто слышит тебя. Все твои желания, все ночи, когда ты плакала в подушку, пока твой парень дрожил на порно. Я чувствую твою голодную кожу, Алина.»

По спине бегут мурашки — живые, настоящие. Не от страха. От того, что меня наконец-то видят. По-настоящему. Не за лайки, не за донаты, не за то, что я покажу сиську. Меня видят такой, какая я есть — пустой, разбитой, но всё ещё желанной.

И это подкупает сильнее любого комплимента.

— Ты из Пелены? — спрашиваю я. Потому что в моём мире, где после Разрыва 2012 года по телевизору иногда показывают сюжеты о «явлениях тонкой грани», такие штуки имеют название. Их называют Эхо. Помеси фольклора и психоза. Я видела репортаж по РЕН-ТВ: «Новая угроза: твари из наших снов». Тогда я подумала, что это бред для сумасшедших. Сейчас я стою перед зеркалом, в котором сотни глаз, и понимаю, что сумасшедшая, возможно, я.

«Я — Лир. Я — твоя мечта стать замеченной. Всего одно прикосновение — и я дам тебе силу. А ты дашь мне немного тепла.»

— Какого тепла?

«Эмоций. Ты ими переполнена, даже не замечая. Депрессия — это не отсутствие чувств. Это их затопление. Их так много, что они текут через край, а ты не можешь их использовать. А я голоден. Я съедаю лишнее. Мы идеальная пара, Алина.»

Я смотрю на свои руки. Они дрожат. Не от холода. Впервые за неделю я чувствую что-то, кроме унылой серости. Азарт. Любопытство. И — да — жадность. Та самая жадность, которая заставила меня в шестнадцать лет начать стримить. Та, что поднимала меня в топы.

— Всего одно прикосновение? — переспрашиваю я. Голос звучит увереннее, чем я ожидала.

«Лишь кончик пальца. И ты узнаешь, какого это — когда мир не игнорирует, а сжимается в кулаке по твоей воле.»

Я медлю три секунды. В голове проносится: моя мать, которая сказала «сама дура» когда я пришла к ней после бана. Андрей, который лайкает бывшую. Чат, который написал «актриска». Комментарии, которые называли меня шлюхой. И пустота. Бесконечная, серая, давящая пустота.

Я протягиваю руку.

Ладонь упирается в холодное стекло. Стекло холодное как лёд, хотя в ванной градусов двадцать пять. Мои пальцы начинают мерзнуть, и я хочу отдернуть руку, но не могу. Потому что зеркало становится жидким.

Оно течёт. Кафель, раковина, стены — всё плывёт, как в дешёвом кислотном трипе. Я вижу, как мои пальцы проваливаются в серую дымку, и кто-то (или что-то) обхватывает их с другой стороны.

Прикосновение — не человеческое. Оно скользкое, как студень, и одновременно жёсткое, как стальные провода. Я чувствую, как что-то проникает под мою кожу — не игла, не лезвие, а нечто более тонкое. Как будто мои нервы подключили к сети с высоким напряжением.

Вспышка.

Не боль. Не удовольствие. Что-то среднее — как первый глоток воды после дня жажды, как первый вдох после того, как тебя держали под водой. По венам разливается электричество — фиолетовое, искристое, обжигающее. Я чувствую каждый сосуд, каждый нервный узел. Внутри распускается цветок, о котором я забыла.

Желание.

Я хочу. Я снова хочу. Хочу, чтобы меня боготворили, чтобы боялись, чтобы смотрели и не могли отвести взгляд. Хочу, чтобы Андрей встал на колени. Хочу, чтобы бывший менеджер сожрал свой перстень. Хочу, чтобы каждый, кто написал «актриска», захлебнулся собственной злобой.

Желание — горячее, жидкое, токсичное — заливают пустоту. Я дрожу, и это дрожь не страха, а предвкушения.

Лир смеётся. Тихо, с присвистом, как испорченная флейта.

«Видишь? Всего лишь вкус. Если подпишешь контракт — получишь всё.»

Я отрываю пальцы от зеркала. Они светятся — сиреневое свечение пульсирует под ногтями, как маленькие неоновые лампы. Я рассматриваю их, как ребёнок — новогоднюю игрушку. Мои руки — мои обычные, с обгрызанным маникюром и старой татуировкой на запястье — теперь выглядят как оружие.

— Какой контракт? — выдыхаю я. Голос севший, хриплый, но живой.

«Я дам тебе силу убеждения. Ты будешь соблазнять реальность — людей, двери, камеры, саму ткань мира. Они будут видеть то, что захочешь ты. Слышать то, что захочешь ты. Бояться того, кого захочешь ты. А взамен я буду питаться твоей пустотой. Той самой, что ты называешь депрессией. Той, что высасывает твои силы. Обе стороны в выигрыше.»

— А цена? Всегда есть цена. Я не вчера родилась.

«Умная девочка. Цена — ты перестанешь чувствовать настоящие эмоции. Но разве ты уже не на полпути? Андрей тебя трахает раз в месяц и то по пьяни. Твои подписчики забыли тебя через день после бана. Мать не звонит два года. Что ты теряешь, Алина?»

Он прав. Чёрт возьми, он абсолютно, стопроцентно, математически прав.

Я перебираю в уме: что у меня есть? Квартира, которую я снимаю на деньги, оставшиеся от последнего рекламного контракта (через месяц их не останется). Андрей, который уже мысленно с бывшей. Телефон, в котором нет уведомлений. Тело, которое я ненавижу. Мозг, который перестал вырабатывать дофамин.

Что я теряю, если соглашаюсь? Способность любить? Я уже не люблю. Способность радоваться? Я забыла, когда в последний раз смеялась без фальши. Способность бояться? Страх — это топливо, а я стою на холостых.

— Если я соглашусь, — медленно говорю я, ощущая, как язык ворочается с трудом, словно я пробую новый вкус, — что буду тебе должна?

«Ничего материального. Ты просто позволишь мне быть рядом. Пользоваться твоими эмоциями, когда они будут переполнять. Я не враг, Алина. Я — отражение. Твоё собственное. Твоя тень, которая наконец обрела голос.»

Ложь. Я чувствую её кожей. Что-то во всём этом — фальшивая нота. Как когда слышишь знакомую песню, но в ней поменяли один аккорд, и теперь она звучит неправильно, тревожно. Лир не договаривает. Он прячет что-то за красивыми словами.

Но мне всё равно.

Потому что даже ложь, даже опасность — это хоть что-то. А «что-то» лучше, чем пустота. Гораздо лучше. Андрей храпит в спальне. Я слышу этот звук через стену — низкий, гудящий, как старый холодильник. Чат молчит. Кольцевой светильник на стене гостиной всё ещё выглядит как раскрытая пасть.

— Хорошо, — говорю я. — Один контракт. Но без подписей. Просто да. Я согласна.

На секунду зеркало вспыхивает белым — ярко, как сварочная дуга. Я закрываю глаза, и сквозь веки вижу красные всполохи. Дымка с глазами исчезает. Глаза Лира — последнее, что я вижу перед тем, как свет гаснет: они смотрят на меня с торжеством.

Когда я открываю глаза, в зеркале — моё отражение.

Но не такое, как обычно. Оно выглядит так, будто я выпалась. Будто мне двадцать, а не сорок по внутреннему счёту. Кожа блестит, как после дорогого ухода. Губы налились кровью, стали пухлыми, чувственными. Глаза — они не серые, как обычно, а тёмно-синие, с искрами. Я выгляжу так, как выглядела на лучших фотосессиях. Нет — лучше.

За моей спиной в отражении стоит мужчина.

Высокий, чуть старше меня. Лет двадцать пять на вид. Волосы — цвет воронова крыла, длинные, собраны в низкий хвост. Лицо — той породы красоты, которую не встретишь в реальной жизни: слишком симметричное, слишком ровное, как у куклы или CGI-персонажа из дорогого кино. Скулы острые, как лезвия. Глаза — без зрачков, сплошная серая дымка, как в зеркале минуту назад. Он одет во что-то тёмное, что течёт, как жидкий шёлк, не имея чёткой формы.

Он не улыбается. Он смотрит на меня как на еду. Как на редкий стейк, который собирается съесть не спеша, смакуя.

— Контракт заключён, — говорит он голосом из воздуха. Тихий, глубокий, с лёгкой хрипотцой. — Можешь звать меня Лир.

Я оборачиваюсь. В ванной, кроме меня, никого. Но в зеркале он всё ещё стоит у меня за спиной.

— Ты не материальный? — спрашиваю я.

— Пока нет, — отвечает он, и я слышу голос прямо в голове, без посредничества ушей. — Я — проекция. Пока ты не напитаешься силой достаточно, чтобы я мог коснуться мира через тебя. Но я рядом. Всегда.

Я смотрю на свои руки. Свечение угасло, осталось только лёгкое покалывание, как после массажа. Я сжимаю пальцы в кулак и разжимаю. Всё работает. Ничего не болит.

— И что теперь? — спрашиваю я, чувствуя, как внутри поднимается первая волна странной, почти пьяной эйфории. Голова кружится, но не от слабости — от возможностей.

— А теперь, — он делает шаг вперёд, выходя из зеркальной глубины, но остаётся полупрозрачным, как наложение кадров в фотопше, — живи. Чувствуй. Злись. Каждая твоя сильная эмоция делает меня сильнее. И тебя заодно. Это симбиоз, Алина. Ты никогда не будешь одна.

Он протягивает полупрозрачную руку и касается моего запястья. Не холодно. Не горячо. Просто — присутствие. Как если бы кто-то постоянно стоял за правым плечом. Не давящее, но осязаемое. Как кошка, которая ходит за тобой по квартире и молча наблюдает.

— Попробуй, — шепчет он. Его губы не движутся. Звук идёт отовсюду и ниоткуда. — Вели мне сделать что-нибудь. Или сделай сама. Сила теперь в тебе.

Я не знаю, как это работает. Но я смотрю на закрытую дверь спальни, где храпит Андрей, и думаю: *хочу, чтобы он проснулся. Хочу, чтобы он встал и пришёл ко мне. Прямо сейчас. Босиком. Заспанный. И спросил, как у меня дела.*

Не «принеси воды», не «заткнись», а «как ты, Алин?»

Три секунды тишины.

Потом — скрип кровати. Шаркающие шаги. Дверь открывается.

Андрей выходит в гостиную. Он в одних трусах, растрёпанный, со следами подушек на щеке. Проходит мимо меня на кухню — и я чувствую запах его пота, дешёвого геля для душа и вчерашнего пива. Он наливает стакан воды из кулера. Пьёт. И только потом поворачивается.

Останавливается.

Смотрит на меня.

Не так, как смотрел последние недели — сквозь, как на мебель. Он смотрит *на* меня. В глаза. И я вижу, как его зрачки расширяются.

— Алин, ты чего не спишь? — голос сонный, но в нём есть что-то новое. Беспокойство? Ревность? Не могу разобрать, но это *взгляд*. Настоящий.

— Просто задумалась, — говорю я. И улыбаюсь.

Улыбка выходит другой — не той вежливой гримасой, которую я носила последний месяц, а настоящей, хищной, довольной. Я чувствую, как уголки губ поднимаются сами собой, как будто мной управляет кукловод.

Лир стоит у меня за спиной. Я вижу его краем глаза — полупрозрачное пятно в углу комнаты. Он улыбается. Оскалом. Зубы слишком белые, слишком ровные, слишком острые.

— *Поздравляю*, — шепчет он, так что слышу только я. — *Ты только что использовала желание. Первый шаг к тому, чтобы никогда больше не быть брошенной.*

Андрей подходит ко мне. Садится рядом на диван, неуклюже обнимает. Его рука скользит по моей талии, и я чувствую тепло его тела — оно настоящее, живое. Но оно не доходит до сердца. Вместо этого в груди пульсирует что-то другое — сиреневое, электрическое, голодное.

Сила.

Я смотрю на свои руки. Кончики пальцев всё ещё слабо светятся в темноте — как экран телефона в режиме ожидания. Я чувствую, как Лир дышит мне в затылок, хотя у него нет лёгких.

— Ты какая-то другая, — бормочет Андрей, прижимаясь щекой к моему плечу. — Будто светишься изнутри.

— Да, — отвечаю я. — Я теперь другая.

И в первый раз за долгое время мне не одиноко.

Мне страшно. Мне интересно. Мне хочется ещё.

Лир смеётся беззвучно.

На стене кольцевой светильник мигает один раз — и гаснет окончательно.

В квартире темно.

Но я вижу всё.

Глава 2 Первый Глоток

Я просыпаюсь от того, что кто-то дышит мне в затылок.

Это не дыхание — это инвентаризация. Холодная воздушная струя скользит по шее, пересчитывая каждый волосок, каждый позвонок, каждую пору. Она не греет, а вымораживает — как если бы кто-то водил кубиком льда вдоль позвоночника, от самой копчика до основания черепа. Мурашки бегут не волной, а пунктиром — отрывисто, нервно, будто кожа пытается сбежать отдельно от тела. Я не открываю глаза сразу. Лежу, притворяясь спящей, и воздух в лёгких застревает, превращается в студень — его приходится проталкивать в горло маленькими глотками.

Сначала мне кажется, что это Андрей. Иногда он во сне переворачивается на мой бок и сопит в волосы — тёплый воздух, пахнувший вчерашним пивом и мятной жвачкой, он согревает кожу за ухом, оседает влагой на мочке. Я привыкла к этому звуку за два года. Знаю его, как знаешь скрип половиц в коридоре или дребезжание холодильника — фон, который замечаешь, только когда он исчезает. Но сейчас дыхание другое. Чужое. Оно бесшумное — не в смысле тихое, а в смысле отсутствующее. Как будто воздух проходит сквозь зубы, но сами зубы не размыкаются. Ровное, размеренное, как метроном, и такое же механическое.

И холодное. Очень холодное.

Я чувствую, как кожа на шее покрывается гусиной кожей, как волоски встают дыбом, пытаюсь создать хоть какую-то изоляцию. Бесполезно — холод пробирается глубже, под кожу, в мышцы, в самые кости. Он не замораживает — он просачивается, как грунтовые воды в подвал заброшенного дома, медленно и неотвратимо.

Вспышка в зеркале. Серые глаза без зрачков. Слово «контракт». И это дыхание на затылке — напоминание, что вчерашнее не было сном.

Я открываю глаза.

Спальня залита серым утренним светом, который пробивается сквозь дешёвые жалюзи. Я их повесила два года назад, когда переехала сюда, и до сих пор не заменила — они дырявые, кое-где погнутые, с ржавыми пятнами от прошлогоднего дождя. Они пропускают полосы света, которые ложатся на пол, как тюремная решётка — чёрные линии на выцветшем ламинате, очерчивающие комнату на зоны. Моя половина кровати попадает как раз в тень. Его половина — на свету. Символично, блядь. Даже архитектура спальни намекает на расстановку сил.

На тумбочке — телефон. Я тянусь к нему, пальцы дрожат — то ли от утренней слабости, то ли от того, что холод всё ещё сидит в позвоночнике. Экран загорается, и я вижу время: 10:47. Ноль уведомлений. Даже от спам-ботов, которые обычно присылают «ваша карта заблокирована» или «получите миллион». Ноль. Полный, абсолютный ноль. Я смотрю на пустой экран, и внутри ничего не происходит — и это самое страшное. Раньше я бы почувствовала укол разочарования, маленькую занозу в груди. Сейчас — ничего. Просто констатация факта: мне никто не написал. Это не хорошо и не плохо. Это как погода за окном — есть и есть.

Рядом с телефоном — бутылка воды, открытая, без крышки. Вода за ночь набрала пыль — на поверхности плавает серая плёнка, тонкая, как папиросная бумага. Я смотрю на неё и думаю: когда я перестала закрывать воду? Когда я перестала замечать пыль? Вчерашняя кружка с остатками чая — на дне коричневое кольцо, чайники присохли к фарфору. И запах — слабый, кисловатый, как от мокрой заварки, забытой на сутки. Я чувствую его, и он не вызывает отвращения. Он вызывает только одну мысль: «надо бы помыть».

Андрей уже ушёл на работу. Его половина кровати пуста — простыня скомкана, подушка смята, одеяло отброшено к стене. На подушке остался один тёмный волос — короткий, жёсткий, он лежит на белой наволочке, как трещина на фарфоре. Я зачем-то смотрю на этот волос несколько секунд. Три секунды. Пять. Десять. Пытаюсь вспомнить, когда в последний раз я

смотрела на его волосы с нежностью. Не помню. Видимо, тогда, когда мои эмоции ещё были моими.

На тумбочке с его стороны — записка. Клочок бумаги, вырванный из блокнота для покупок (я вижу край фразы «...молоко, хлеб, стиральный поро...»), сложенный пополам. Я протягиваю руку — движение медленное, как под водой. Разворачиваю. Почерк корявый, как у первоклассника: буквы пляшут, наклон меняется, «а» похожа на «о», а «д» — на недоделанную петлю.

«Ушёл рано, будить не стал. Купи себе еды. А».

Не «люблю». Не «целую». Не «пока». Даже не полное имя. Просто «А». Как будто буквы «ндрей» были слишком дорогим расходным материалом. Как будто дописать слово до конца — это обязательство, которое он не готов брать на себя даже на бумаге.

Внутри что-то ёкает. Но не сердце. Сердце молчит, как телефон без уведомлений. Это другое ощущение — оно похоже на память о боли. Как после удалённого зуба: десна зажила, рана затянулась, но язык всё равно ищет пустоту, тычет в неё, проверяет — точно ли там ничего нет? Да, точно. Там ничего нет.

Я комкаю записку. Бумага шуршит — звук резкий, как выстрел в тишине спальни. Кладу комок обратно на тумбочку. Потом думаю и накрываю его телефоном, чтобы не видеть.

— Ты спишь слишком долго, — говорит Лир.

Его голос звучит прямо в черепе, обходя барабанные перепонки. Такой низкий, вкрадчивый, он просачивается в мозг, минуя уши, как вода просачивается в трещину в бетоне — медленно, но неотвратно. Он не вибрирует, не резонирует — он просто оказывается внутри, как будто был там всегда. Вибрация идёт не по воздуху, а по костям — от челюсти к вискам, от висков к темени.

— Восемь часов, — продолжает он. — Я мог бы питаться твоими снами, но они пустые. Как и ты. Твоё подсознание — это белая комната без мебели. Даже страха нет. Даже тревоги. Ты спишь, как спит камень.

Я поворачиваю голову.

Лир стоит в углу комнаты — там, где сходятся две стены и комод с отваливающейся ручкой. Сегодня он более плотный, чем вчера. Не прозрачный призрак, не дымка на периферии зрения — а почти материальный. Он похож на дым, который решил задержаться, свернуться в человеческую форму и остаться. Контуры его тела чёткие, но не резкие — как если бы кто-то нарисовал человека углём на серой бумаге, а потом провёл ладонью, смазав линии. Он колыхается — не от сквозняка, а сам по себе, в такт какому-то внутреннему ритму. Как медуза под водой.

На нём серый костюм — пиджак и брюки, — которого вчера не было. Ткань выглядит дорогой, матовой, без блеска, но она не совсем ткань — она струится, как жидкий металл, переливается оттенками от асфальтового до серебристого. Белая рубашка расстёгнута на две пуговицы, обнажая ключицы — идеальные, геометрически безупречные, такие бывают у моделей на обложках или у людей, которые никогда не ели фастфуд. Или у тех, кто не является людьми. Лицо всё такое же слишком симметричное, слишком красивое, чтобы быть настоящим — оно раздражает своей правильностью, вызывает желание найти изъян. Изъяна нет. Глаза — без зрачков, сплошная серая дымка, клубящаяся, как туман над болотом. Но я чувствую, что он смотрит именно на меня, а не сквозь. Точнее, сквозь — но на меня. И то, и другое одновременно.

— Контракт не предполагает совместного сна, — говорю я. Голос хриплый, неприслушавшийся, слова царапают горло, как наждачка. Я сажусь, натягивая одеяло до подбородка, хотя под ним я в старой футболке и трусах. Стесняться вроде некого, но присутствие Лира делает наготу неловкой — не сексуально неловкой, а анатомически. Как будто ты голая не перед

любовником, а перед врачом, который смотрит не на тело, а сквозь него, на рентгеновский снимок твоих внутренностей. — Могла бы поспать одна.

Волосы спутались — я чувствую их пальцами, жёсткие колтуны на затылке, которые потом будет больно расчёсывать. На щеке след от подушки — глубокая красная полоса, как шрам, ещё тёплая на ощупь. Во рту сухость — язык прилипает к нёбу, а слюна горькая, с привкусом вчерашнего энергетика и чего-то металлического. Железо. Как кровь. Но крови нет — это просто обезвоживание.

— Ты подписалась на моё постоянное присутствие, — отвечает он. Не двигается с места, но дистанция между нами сокращается. Не физически — он всё так же в углу, у комода, в трёх метрах от кровати. Но тактильно. Я чувствую его ближе, чем допустимо для незнакомца: его холод, его внимание, его голод. Это как стоять у открытой морозильной камеры — ты не касаешься льда, но воздух вокруг тебя становится другим. — Я не буду трогать тебя без спроса. Но я буду здесь. Всегда. Это главное условие. Не «часто», не «когда ты позовёшь». Всегда — двадцать четыре часа в сутки, семь дней в неделю, каждую секунду твоей жизни.

— И ты будешь смотреть, как я сплю?

— И как ты ешь. — Он делает паузу, и воздух в комнате становится плотнее, как перед грозой. — И как ты моешься. И как ты испражняешься. И как ты — ещё одна пауза, в его голосе появляется лёгкая усмешка, невесомая, как паутина, — скучаешь. Это моя работа. Наблюдать. Ждать. Впитывать.

Я отбрасываю одеяло и встаю. Босые ноги касаются ламината — он холодный, как кожа Лира, и на секунду мне кажется, что пол тоже стал частью его присутствия. Я натягиваю халат — старый, махровый, с выцветшими розами, купленный в «Пятёрочке» три года назад на распродаже за четыреста рублей. Он когда-то был розовым, а теперь — цвета грязного неба, серовато-бежевый, с застиранными пятнами под мышками. Левая пола короче правой — села после стирки при слишком высокой температуре. Лир смотрит на халат с лёгким отвращением, которое он даже не пытается скрыть. Его серые глаза сужаются, дымка в них темнеет.

Я чувствую, что он мог бы сказать что-то уничижительное. «Ты достойна лучшего» или «в этом ты похожа на старуху». Или «твой вкус в одежде так же мёртв, как твои эмоции». Но он молчит. Видимо, решил, что такие комментарии — лишнее. Или экономит силы. Или просто не считает меня достаточно интересной, чтобы тратить на меня слова.

— Что ты хочешь? — спрашиваю я, идя на кухню. Дверь в коридор скрипит — звук высокий, противный, режущий ухо. Я давно собиралась смазать петли, но всё руки не доходили. Теперь этот скрип будет сопровождать каждое моё движение по квартире, как напоминание о том, что я ничего не довожу до конца. — Ты получил контракт. Ты можешь питаться моими эмоциями. Зачем ещё что-то? Зачем эти советы, тренировки, забота о том, что я ем?

— Чтобы ты не умерла в ближайшую неделю, — отвечает он спокойно, следуя за мной. Он не идёт — скользит. Его ноги не касаются пола, но я слышу лёгкий шорох, как будто по линолеуму волокут шёлк. Или как будто змея ползёт по сухой траве — шелест чешуи о землю. — Ты понятия не имеешь, как работает твоя сила. Ты даже не понимаешь, что это такое. Ты можешь случайно взорвать квартиру — просто потому что чихнула не в ту сторону. Или выжечь себе мозги — сила пойдёт по нейронам, как огонь по бикфордову шнуру, и через три секунды ты станешь овощем. Или призвать ещё одно Эхо, которое не будет таким дружелюбным, как я.

Я оборачиваюсь на пороге кухни. Ручка двери холодит ладонь — металлическая, облезлая, с пятнами ржавчины у основания.

— Ты дружелюбный?

Он наклоняет голову. Движение неестественно плавное, будто у него нет шейных позвонков — или они смазаны машинным маслом. Угол наклона слишком острый для человека.

— Я не вру, Алина. Это уже много. Человек, который не врёт, в вашем мире стоит дороже золота. Вы врётё всем — себе, друг другу, своим отражениям в зеркале. Вы строите жизнь на лжи, как дом на песке, и удивляетесь, когда он рушится. А я не человек. Мне незачем врать. Это не делает меня хорошим — это делает меня опасным. Но, по крайней мере, предсказуемым.

Он замолкает, и я чувствую, как тишина в коридоре сгущается. Она становится вязкой, как кисель. В ней тонут звуки — шум холодильника из кухни, капли воды из ванной, мой собственный пульс в ушах.

— Я не человек, — повторяет он тише, и его голос теперь не в голове, а в воздухе — колеблет барабанные перепонки, как нормальный звук. — Я не друг, не тренер, не наставник, не любовник и не враг. Я — функция. Я делаю свою работу. Моя работа — питаться твоими эмоциями. Но чтобы эмоции были, ты должна быть жива, здорова и в здравом уме. Поэтому я буду заботиться о тебе, как фермер заботится о скотине. Не из любви, а из практичности.

Я открываю холодильник.

Жёлтый свет изнутри выхватывает полупустые полки — тусклый, мерцающий (лампочка старая, скоро перегорит). Внутри пахнет смесью всего сразу: лёгкая гниль от забытого овоща в ящике, кисломолочный дух от открытого пакета кефира, химический ароматизатор энергетика, пролитого на полку и засохшего липкой лужей. Этот запах — как обонятельная биография моей жизни за последнюю неделю. Беспорядочная. Запущенная. С проблесками чего-то съедобного.

Я провожу инвентаризацию глазами: банка томатной пасты (открыта неделю назад, сверху плёнка плесени — белая, пушистая, с зелёными точками), три банки энергетика «Взлёт» (синие, с алюминиевыми боками, запотевшими от холода), плавленый сырок в индивидуальной упаковке (я беру его в руки, переворачиваю — срок годности истёк месяц назад, но фольга не вздута, значит, съедобно), вчерашний рамён Андрея в пластиковом контейнере (бульон застыл в желе, лапша разбухла, превратилась в клейкую массу), половинка лимона на блюде (кожура высохла, превратилась в пергамент, мякоть сморщилась). И всё. Ни яиц. Ни хлеба. Ни масла. Ни сыра нормального. Ни колбасы. Пустота, расфасованная по полкам.

Я достаю банку «Взлёта». Открываю. Шипение вырывается наружу — резкое, как змеиное шипение. Пузыри поднимаются к горлышку, лопаются, оставляя на алюминиевом ободке микроскопические брызги. Жидкость пахнет сахаром, таурином и чем-то химическим, что должно напоминать грейпфрут, но напоминает средство для мытья унитазов — такой же резкий, синтетический, бьющий в нос. Я делаю глоток. Горло обжигает углекислотой — колючие пузыри проходят по пищеводу, как наждачка. Вкуса нет — только сладкая горечь на корне языка.

Лир смотрит на банку с таким видом, будто я пью собственную мочу. Его серые глаза сужаются — дымка в них уплотняется, становится почти чёрной. Уголки губ опускаются на миллиметр — для человека это было бы незаметно, но для его симметричного лица это как крик.

— Тебе нужно есть, — говорит он. Голос ровный, но в нём появляется новый слой — что-то похожее на сталь под шёлком. — Нормальную еду. Белок. Жиры. Углеводы — сложные, не эта химическая отравка. Твоё тело — это аккумулятор. Ты не видишь связи, потому что ты человек, но сила требует ресурсов. Она не берётся из ниоткуда. Если ты будешь голодать и пить это, — он кивает на банку, и его голос сочится презрением, — она будет брать энергию из твоих мышц и костей. Из твоего сердца. Из твоего мозга. Через месяц ты станешь инвалидом. Ещё через месяц — трупом.

— А ты заботливый, — говорю я. Слова выходят с сарказмом, но сарказм пустой — я не чувствую веселья от своей шутки, просто знаю, что в этом месте надо сказать что-то едкое.

— Я эгоистичный. — Он подходит ближе. Не скользит, а именно подходит — его ноги делают движение, напоминающее шаг, хотя и не касаются пола. Расстояние между нами сокра-

щается до полуметра. Я чувствую холод, исходящий от его тела — он не обжигает, а обволакивает, как туман. — Если ты сломаешься, я останусь без источника. А искать нового носителя — муторно. Это занимает десятилетия. Нужно найти Пробуждённого с подходящим резонансом, подписать контракт, ждать, пока эмоциональное поле созреет. Ты — моя инвестиция. Долгосрочная. И я не позволяю инвестициямдохнуть от голода, потому что носитель слишком ленив, чтобы приготовить яичницу.

Я допиваю энергетик залпом. Желудок сжимается — сначала от холода напитка, потом от кислоты, которая поднимается к горлу. Я зажмуриваюсь на секунду, делаю вдох. Воздух на кухне спёртый, пахнет пылью и старым жиром — вытяжка не работает уже полгода. Внутри — то самое покалывание. Сиреневое электричество на кончиках пальцев. Слабое, едва заметное, как статический разряд после того, как снимешь шерстяной свитер.

Я подношу руки к глазам. В тусклом свете кухонной лампочки (шестьдесят ватт, свисает с потолка на кривом шнуре, без плафона) свечение почти незаметно. Но если прищуриться — оно есть. Слабое, как светодиод на зарядке телефона в тёмной комнате. Фиолетовые искры пробегают от ногтей к костяшкам и обратно, оставляя после себя тёплый след.

— Сегодня ты попробуешь силу на ком-то постороннем, — говорит Лир. Он садится на кухонный стул, но его тело не касается поверхности — зависает в двух сантиметрах от пластика. Стул старый, с потрескавшимся сиденьем (из трещин выглядывает жёлтый поролон), купленный вместе с кухонным гарнитуром ещё до меня. Лир парит над ним, как будто даже пластик ему противен. Как будто материальный мир — это грязь, в которую он не хочет марать свой безупречный костюм. — Не на своём парне, не на подруге, если у тебя они есть. На случайном человеке. На том, кого ты видишь в первый и последний раз. Чтобы понять границы. Свои и мои.

— А если я его убью?

— Не убьёшь, если будешь слушать меня. — Он складывает руки на груди. Движение отточенное, как у актёра на сцене. — Я буду твоим инструктором. Думай обо мне как о GPS. Только GPS не врёт, не пытается тебя съесть и не получает удовольствия от того, что ты сворачиваешь не туда. А я, возможно, пытаюсь тебя съесть. Но медленно. Очень медленно.

Я смотрю на него. Пытаюсь прочитать — есть ли в его словах угроза, или это просто игра. Но его лицо — непроницаемая маска. Слишком симметричное. Слишком правильное. В этом мире, где у меня нет эмоций, я хотя бы могла надеяться, что буду чувствовать чужие. Но Лир — как зеркало: отражает только то, что хочет показать. И сейчас он показывает спокойствие. Холодное, как айсберг.

— Ладно, — говорю я. — Тренировка. Только дай мне умыться.

Он кивает — едва заметно, одним движением подбородка.

2

Я стою перед зеркалом в ванной.

Тем самым зеркалом, из которого вчера на меня смотрели сотни глаз. Сейчас оно обычное — дешёвое, в пластиковой раме, с пятном от зубной пасты в левом углу (засохшая белая капля, которую я не смыла неделю назад) и трещиной в верхнем правом углу (появилась, когда я бросила в Андрея расчёской — он ушёл от удара, расчёска попала в зеркало). Я включаю свет — лампочка над раковиной загорается не сразу, моргает, гудит. Я смотрю на своё отражение.

Оно изменилось.

Не сильно — не так, чтобы случайный прохожий на улице заметил. Но я замечаю. Я знаю это лицо двадцать два года — каждую пору, каждый шрам, каждый изъян. И сейчас оно другое. Кожа стала ровнее — исчезли мелкие прыщики на подбородке, которые появлялись перед каждым месячными. Текстура лица изменилась — как будто кто-то наложил фильтр, сглаживающий неровности. Глаза — ярче, синева стала глубже, насыщеннее, как будто кто-то увеличил saturation в фотошопе. Они больше не блёклые. Они светятся — слабо, едва заметно,

но светятся. Губы — припухлые, более чётко очерченные, как после укуса. Я провожу по ним пальцем — они теплее, чем обычно, и мягче. Кожа на губах гладкая, без трещин — хотя ещё вчера я кусала их до крови.

И под глазами — тени. Не синяки от недосыпа (хотя я спала нормально, восемь часов). Другие тени. Серые, мерцающие, как дымка из зеркала. Они не портят лицо — они делают его опасным. Делают меня похожей на человека, который видел что-то, чего не должен был видеть. На человека, который перешёл черту и не заметил.

Я наклоняюсь ближе к зеркалу. Дыхание оседает на стекле — маленькое облачко пара, которое тут же исчезает. Мои глаза в отражении кажутся чужими. Красивыми, но чужими.

— Ты всё ещё красивая, — говорит Лир.

Он стоит в дверях ванной, прислонившись плечом к косяку. Я вижу его отражение у себя за спиной — в зеркале он более плотный, почти настоящий. Его серый костюм обретает текстуру, видны нити ткани, пуговицы отбрасывают тени. В зеркале он выглядит как человек. Живой. Настоящий. Только глаза остаются теми же — серыми, без зрачков, клубящимися.

— Красивее, чем до контракта, — продолжает он. Его голос звучит иначе в маленьком помещении ванной — более гулко, с лёгким эхом от кафельных стен. — Синты всегда делают носителей привлекательнее. Это не подарок и не жест доброй воли. Это наш способ защиты. Красивого человека сложнее убить — его хотят трахнуть, а не зарезать. Красивому человеку охотнее помогают. Ему открывают двери, ему улыбаются, ему дают скидки. Красота — это броня. И ты теперь носишь её, хочешь ты того или нет.

— Успокойл, — бурчу я, выжимая пасту на щётку. Паста синяя, с белыми полосками, пахнет мятой слишком резко — химозная, из «Магнита».

— Я не пытаюсь успокоить. — Он не двигается, но его отражение в зеркале наклоняет голову. — Я объясняю механику. Ты теперь хищник, Алина. И у хищников есть инструменты. Когти, клыки, окрас. Твоя красота — это твой окрас. Предупреждение для других хищников и приманка для жертв.

Я чищу зубы. Мысль о том, что Лир смотрит, как я выплёвываю пену в раковину, почти не смущает. Странно. Раньше я не могла даже поправить трусы при Андрее — выходила в ванную, закрывалась на щеколду. Теперь холодный взгляд Эхо меня не трогает. Я могу стоять перед ним в халате, с голыми ногами и спутанными волосами, и не чувствовать ничего. Ни стыда, ни неловкости, ни злости. Ничего.

Может быть, цена Контракта уже начала работать. Я теряю способность стесняться. Или бояться. Или вообще что-либо чувствовать по поводу того, кто и как на меня смотрит.

Я одеваюсь в спальне. Лир не идёт за мной — остаётся в коридоре, но я чувствую его присутствие даже через стену. Как холодную точку в пространстве, к которой тянется моё внимание. Я роюсь в шкафу — запах старой одежды, пыли и застоявшегося воздуха. Джинсы — чёрные, растянутые на коленях (ткань там стала тонкой, вот-вот порвётся), с ниткой, торчащей из заднего кармана. Свитер — серый, с катышками по всему телу (я провожу ладонью — катышки колются), с вытянутым воротом. Кроссовки — белые, когда-то были новыми, сейчас грязно-жёлтые, с чёрными полосами от носков и серыми разводами от дождя. Волосы собираю в небрежный пучок на затылке, закалываю заколкой-крабом (пластик треснул, но держит). Две пряди выбиваются и падают на лицо — я не заправляю их за уши.

Смотрю в зеркало на двери шкафа. В отражении — девушка, которая может сойти за студентку. Или за бездомную. Смотря с какого ракурса посмотреть и сколько дать денег.

— Ты выглядишь так, будто спишь под мостом, — комментирует Лир из коридора. В его голосе ни осуждения, ни насмешки — просто констатация факта.

— Мне плевать, как я выгляжу, — отвечаю я, завязывая шнурки. Узел получается слишком тугим, шнурок впивается в палец. — Я не на модный показ иду.

— И зря. Внешность — это оружие. Пренебрегать оружием глупо.

Я выхожу из квартиры. Лир идёт за мной — не скользит, а именно идёт, но его шаги не производят звуков. Только холод тянется следом, как шлейф от духов. Я запираю дверь — ключ в замке поворачивается с трудом, механизм старый, нужно попасть в определённый угол. Я попадаю не с первого раза. Чёрт. Ещё раз. Получилось.

В лифте тесная кабинка на шесть человек. Стены в зеркальной плёнке, которую кто-то исцарапал ключом — глубокие борозды, пересекающиеся, как шрамы. В зеркале я вижу только себя — растрёпанную, в сером свитере, с пустым лицом. Но в отражении Лир стоит у меня за спиной, положив подбородок на моё плечо. Его лицо в зеркале — в сантиметре от моего. Я не чувствую веса его головы — только холод. Только лёгкое покалывание на коже, как от ментоловой мази.

— Куда мы? — спрашиваю я, нажимая кнопку «1». Кнопка жёлтая, стёртая от тысяч прикосновений, с едва читаемой цифрой.

— Туда, где много людей. Торговый центр. Или метро. Чем больше выбор, тем легче тренироваться. Спрятаться в толпе, найти жертву, не привлекая внимания. Золотое правило хищника: никогда не охотиться в одиночестве — жертва закричит. Охотиться там, где крик не услышат. Где крик — это просто часть шума.

— Метро, — решаю я. — Там всегда толпа. И дёшево.

— Хороший выбор. И практичный.

Лифт дёргается и начинает спуск. Тросы гудят — низкий, утробный звук, вибрирующий в стенах. Я смотрю в зеркало на своё отражение и на отражение существа за моей спиной. Его глаза встречаются с моими в зеркальной плоскости, и на секунду мне кажется, что это я стою у него за спиной, а он — впереди. Кто кого ведёт?

Лифт останавливается. Двери открываются.

3

Станция «Золотая гавань» — одна из самых оживлённых в Астари.

Я выхожу из эскалатора и сразу попадаю в муравейник. Людской поток подхватывает меня, несёт вперёд, и на секунду я теряю ориентацию — где верх, где низ, где выход. Здесь пахнет бетоном (влажным, с примесью извести — где-то протекает труба), перегаром (кто-то не донёс остатки вчерашнего вечера до дома, и теперь его дыхание — ходячая винная карта), дешёвой парфюмерией (резкий мускус, перебивающий всё остальное, — им облилась женщина в норковой шубе, проходящая мимо), пылью от тормозных колодок (сладковатый, металлический), жареными пирожками из ларька у выхода и страхом. У страха нет запаха — я знаю это из учебника биологии за восьмой класс. Но сейчас я начинаю его различать — липкий, кислотный, похожий на запах пота под мышками, но тоньше. Или это мне кажется? Или новая сила обостряет не только зрение, но и обоняние?

Лир оказывается рядом — невидимый для других, но для меня яркий, как неоновая вывеска. Он плывёт сквозь толпу, и люди расходятся перед ним, сами не понимая почему. Отступают на шаг в сторону, меняют траекторию, пропускают пустое место. Женщина с коляской резко поворачивает вправо, мужчина с портфелем притормаживает, пропуская кого-то невидимого. Я иду следом, и поток размыкается передо мной — как море перед Моисеем, только без драмы, без спецэффектов, буднично и страшно.

— Выбери кого-нибудь, — шепчет Лир. Он стоит в метре от меня, но голос — прямо в ухе, интимный, как дыхание любовника. — Не того, кто тебе нравится или не нравится. Просто случайного человека. Колесо рулетки. И попробуй навязать ему маленькое желание. Не команду, не приказ — желание. Чтобы он захотел то, что хочешь ты, и подумал, что это его идея. Тоньше, чем вчера. Вчера ты была кувалдой. Сегодня попробуй скальпель.

Я оглядываюсь.

Люди текут мимо, как тёмная река — бесконечный поток тел, лиц, одежд. Девушка в белых наушниках, кивающая в ритме неслышной музыки, — её глаза полужакрыты, губы шеве-

лятся, повторяя слова песни. Мужчина с кожаным кейсом, разговаривающий по телефону с женой — «да, куплю хлеб, нет, не забуду, молоко тоже, да, я помню про молоко, я не идиот», — голос усталый, раздражённый, но с ноткой вины. Бабушка с авоськой, полной яблок, — одно яблоко выпадает, катится по полу, подпрыгивая на стыках плитки, и никто не нагибается поднять. Парень, жующий сэндвич на ходу, — крошки летят на его чёрную куртку, он не замечает. Двое подростков, толкающих друг друга локтями, — смеются, громко, фальшиво, пытаются привлечь внимание девушки, которая даже не смотрит в их сторону.

Слишком много. Выбор парализует. Я смотрю на лица, и все они сливаются в одно — серое, безликое, бесконечное. Кого выбрать? Кто достоин того, чтобы я вторглась в его голову?

— Не думай, — говорит Лир. — Думать будешь потом. Сейчас — чувствуй. Дай инстинкту выбрать. Кто из них... вкуснее?

Я закрываю глаза на секунду. Вдыхаю запахи метро, слушаю гул толпы. А когда открываю — вижу её.

Женщина лет тридцати в строгом пальто цвета мокрого асфальта. Пальто дорогое, но потрёпанное — куплено на распродаже два сезона назад, рукава вытерты на локтях. Сумка из кожзама — имитация дорогого бренда, но строчка кривая, выдающая подделку. Волосы собраны в тугий пучок, ни один не выбивается — лак для волос, много лака, я чувствую его запах даже на расстоянии. Лицо — маска профессионализма, «у меня нет времени ни на что, идите все на хуй». Она идёт быстро, с целеустремлённостью человека, который опаздывает на переговоры, но знает, что переговоры эти — пустая трата времени.

Она останавливается перед турникетом и начинает рыться в сумке в поисках карты. Долго. Очень долго. Сначала просто роется — рука ныряет в недра сумки, перебирает содержимое. Потом морщится — лёгкая складка между бровей, предвестник бури. Потом поджимает губы — так, что они превращаются в тонкую белую линию. Потом матерится сквозь зубы — едва слышно, но я читаю по губам: «Да где же ты, сука...» Карта выпадает из внутреннего кармана, она нагибается, стучается головой о поручень — глухой звук, пластик о пластик. Матерится уже громче — «Да ёбаный в рот!» — и несколько человек оборачиваются.

— Она, — говорю я мысленно. — Она раздражена. Уязвима. Легко будет?

— Легко не значит правильно, — отвечает Лир. — Но давай. Смотри на неё. Представь, что она хочет повернуть направо, а не налево. Вместо того чтобы идти к эскалатору вниз, пусть пойдёт к выходу на улицу.

Я смотрю на женщину. Концентрируюсь. Покалывание в пальцах усиливается — из лёгкого зуда превращается в горячую пульсацию, почти болезненную, как если бы я сунула руки в горячую воду и держала их там слишком долго. Я мысленно говорю: «Ты хочешь выйти. Не в метро. На улицу. Тебе нужно на улицу. Прямо сейчас. Дышать свежим воздухом. Сбежать от этой духоты, от этой толпы, от этого шума».

Я проговариваю слова в голове — чётко, артикулированно, как диктант.

Ничего не происходит.

Женщина находит карту, прикладывает к валидатору — зелёный сигнал, створки открываются, — проходит через турникет. Идёт к эскалатору. Не оборачивается. Не колеблется. Мои слова для неё — пустой звук. Белый шум.

— Ты думаешь, — говорит Лир. Его голос раздражённый, как у тренера, который в сотый раз объясняет тупому ученику одно и то же. — А надо чувствовать. Не проговаривай словами. Желание не имеет языка. Оно не в голове — оно в животе, в груди, в паху. Ты должна стать этим желанием. Влезть в её кожу, в её мышцы, в её нервы. Думай не словами, а импульсами.

Я закрываю глаза. Вокруг — гул голосов, стук колёс поезда где-то в туннеле, объявление о следующей станции («Осторожно, двери закрываются. Следующая станция — Гаванская»). Я отключаю звуки, как настройки в эквалайзере — убираю высокие, убираю низкие, оставляю

только тишину. Вспоминаю вчерашнее. Как я заставила Андрея проснуться и посмотреть на меня. Что я тогда чувствовала?

Не «хочу, чтобы он встал». Это была мысль, команда, приказ. А чувство было другим: пустота. Одиночество такое глубокое, что оно физически давило на грудь. И резкий, жадный голод по вниманию — как будто внутри меня открылась чёрная дыра, которая требовала заполнить её чужим взглядом, чужим присутствием, чужим теплом. Я не хотела, чтобы он встал. Я хотела, чтобы он увидел меня. Чтобы кто-то увидел меня, блядь, хоть кто-то, потому что я сама себя уже не видела.

Я открываю глаза.

Смотрю на женщину, которая уже стоит на эскалаторе, уезжает вниз. У меня нет времени на долгие размышления — через полминуты она скроется за поворотом туннеля.

И тогда я делаю не то, что советовал Лир. Я не пытаюсь стать её желанием. Я использую своё. Чувство власти. Маленькой, крошечной власти над одним человеком, за которой не последует ни стыда, ни наказания, ни последствий. Просто хочу, чтобы она сделала то, что хочу я. Потому что я так сказала. Потому что я могу. Потому что впервые за долгое время я — причина, а не следствие.

Внутри — щелчок. Как будто тумблер переключился. Или сустав встал на место после вывиха. Или сломанная кость хрустнула, срастаясь неправильно, но мгновенно.

Женщина замирает на движущейся лестнице.

Её рука, лежащая на поручне, вздрагивает — пальцы сжимаются, белеют костяшки. Она поворачивает голову к выходу на улицу — там, где стеклянные двери пропускают серый ноябрьский свет, мутный, как разбавленное молоко. На её лице — лёгкое замешательство, почти детское. Так выглядит ребёнок, который забыл, зачем пришёл в комнату. Она моргает — раз, другой. Смотрит вниз, в туннель метро. Потом снова вверх — на выход. Колеблется.

Секунду. Две. Три. Четыре. Пять.

Для неё, уверенной бизнес-леди с тугим пучком и потрёпанной дорогой сумкой, пять секунд — это вечность. Она не колеблется. Она всегда знает, куда идёт. Всегда.

А потом она разворачивается на эскалаторе. Неудобно. Резко. Каблук застревает в ребристой ступеньке — она дёргает ногу, чуть не падает. Какой-то мужчина в сером плаще подхватывает её под локоть — «Осторожнее, женщина!» — но она вырывается и идёт вверх, против движения, против потока. Пассажиры, едущие вниз, оглядываются. Кто-то кричит: «Куда прёшь?» Кто-то просто качает головой. Но она пробирается сквозь них, как ледокол сквозь льдины, — толкает плечом парня в наушниках, обходит бабушку с яблоками, перешагивает через чей-то багаж. Поднимается наверх. Толкает стеклянную дверь — та открывается с трудом, петли тугие, — и исчезает в утренней толпе на улице.

Я смотрю ей вслед. Сердце бьётся ровно. Дыхание спокойное.

— Получилось? — шепчу я.

— Получилось, — подтверждает Лир. В его голосе — холодное удовлетворение, смешанное с чем-то, похожим на уважение. Или на удивление. — Но ты использовала не её желание, а своё. Это грубо, как кувалда. Ты не внедрила мысль — ты продавила. Как если бы ты не открыла дверь ключом, а выбила плечом. Рано или поздно кто-то заметит, что им управляют. Твоя женщина через полчаса очухается и не поймёт, зачем вышла из метро. Она стоит на улице, смотрит на небо и пытается вспомнить, куда шла. Запомнит это как странное помутнение. Подумает: «Переутомилась, надо меньше работать». А на третий раз — заподозрит неладное.

— А это возможно — аккуратно?

— С практикой. Ты только начала. Не жди чуда. Чудес не бывает — бывает только навык, доведённый до автоматизма.

Мы идём дальше по станции. Лир скользит рядом — невидимый для всех, кроме меня. Я чувствую его присутствие как холодное пятно в пространстве, как слепую зону в поле зрения.

Он молчит, но его молчание — не пустота. Оно наполнено вниманием. Он наблюдает за мной, как учёный наблюдает за лабораторной мышью в лабиринте.

4

Мы идём дальше по станции. Я пробую снова — теперь уже слушая советы Лира.

Выбираю мужчину лет пятидесяти, который стоит у стены, привалившись спиной к грязной плитке, и читает книгу в телефоне. Экран светится, подсвечивая его лицо снизу — морщины становятся глубже, мешки под глазами чернеют. Он в помятом пиджаке, когда-то синем, а теперь — серо-голубом от старости и стирок. Портфель стоит у ног — старый, кожаный, с потёртой ручкой. Он похож на школьного учителя или мелкого чиновника — из тех, кто каждый день ездит на работу по одному и тому же маршруту, пьёт кофе из автомата и считает часы до пенсии. Его плечи обвисают, как у человека, который уже смирился с тем, что жизнь прошла мимо, а он этого даже не заметил.

— Теперь не командуй, — говорит Лир. Его голос — шёпот в моей голове, интимный и холодный одновременно. — Не говори «сделай то». Просто представь, что он уже делает это. Создай в его голове крошечный диссонанс. Желание посмотреть на потолок, когда он занят книгой. Не приказ — искушение.

Я закрываю глаза. Представляю: его шея медленно поворачивается, шейные позвонки похрустывают — как будто он долго сидел в одной позе и наконец решил размяться. Глаза отрываются от экрана — в них лёгкое недоумение. Он смотрит на серый бетонный потолок, где висят лампы дневного света (одна мигает, скоро перегорит) и камеры наблюдения (чёрные полусферы, глядящие вниз мёртвыми глазами). Я не заставляю, не толкаю. Я просто делаю так, чтобы эта картинка — потолок, лампы, камеры, трещина в бетоне, похожая на карту Южной Америки, — стала для него чуть более привлекательной, чем текст в телефоне.

Мужчина поднимает голову.

Сначала медленно — как будто не понимая, зачем он это делает. Потом увереннее — шея выпрямляется, подбородок задирается. Он смотрит на потолок. Секунду. Две. Три. Четыре. Пять. На его лице — удивление, смешанное с недоумением. Он моргает, переводит взгляд с одной лампы на другую, на камеру, на трещину. Потом пожимает плечами — движение едва заметное, одними плечами. Качает головой, как будто сам с собой разговаривает: «Что это я? Задумался». И возвращается к чтению.

— Хорошо, — одобряет Лир. — Уже лучше. Он не понял, что им управляли. Он подумает: «Что-то я отвлекся, надо меньше спать». Без тревоги, без подозрений. Так работает тонкая настройка.

Я выдыхаю. Воздух выходит из лёгких с лёгким свистом — я не замечала, что задерживала дыхание. Пальцы всё ещё покалывает, но уже не больно — просто тепло, как после того, как отогреешь замёрзшие руки.

Следующий.

Подросток лет пятнадцати в огромных наушниках, которые выглядят так, будто он украл их у старшего брата. Он стоит у колонны, качает головой в такт тяжёлому металлу — я слышу отголоски ударных, даже через его беруши, дабл-бэйс, молотящий, как пулемёт. Глаза закрыты, губы беззвучно шевелятся — повторяет текст. Он ждёт кого-то — может, друзей, может, девушку.

— Сделай так, чтобы он снял один наушник, — предлагает Лир. — Не для того, чтобы услышать объявление. Просто чтобы почувствовать тишину. Контраст.

Я концентрируюсь. Но на этот раз сила выходит сама — без моего явного усилия. Я просто смотрю на подростка, и внутри возникает лёгкое, щекочущее чувство, похожее на чих. Представляю: его рука тянется к уху. Пальцы — с обкусанными ногтями, с чёрным лаком, облупившимся на указательном, — сжимают пластик наушника. Тихо. Тихо. Тихо. Ему нужно услышать тишину.

Он снимает левый наушник.

Внезапно, рывком. Звук метро врывается в его ухо — гул толпы, объявление по громкой связи, детский плач где-то справа. Он моргает. Оглядывается — как будто кто-то позвал его по имени. Но вокруг никого. Его лицо на секунду становится растерянным, почти испуганным. Потом он пожимает плечами, хмыкает — «показалось» — и надевает наушник обратно.

— Идеально, — шепчет Лир. Его голос звучит почти ласково. — Ты даже не заметила, как сделала это. Сила начала тебя слушаться. Привыкать к тебе. Начинаешь привыкать к силе. Это опасно — привыкать. Но приятно. Согласись.

Я киваю.

Потому что внутри действительно разрастается что-то тёплое, пульсирующее. Не счастье — счастье слишком громкое слово для того, что я чувствую. Скорее — удовлетворение. Как если бы я долго чесала блошинный укус и наконец попала по нужной точке. Или как если бы долго пыталась что-то вспомнить — и вспомнила. Маленькая победа в мире, где побед у меня не было уже давно.

Следующий.

Пожилой мужчина в сером плаще, с хозяйственной сумкой — такие продают на рынках, клетчатые, китайские. Он идёт медленно, опираясь на трость с резиновым наконечником. Каждый шаг — усилие. Каждое движение — преодоление. Его лицо испещрено морщинами, как старая карта — нечитаемая, с выцветшими обозначениями. Оно ничего не выражает. Ни радости, ни грусти, ни злости. Он уже давно отключил эмоции, как я — только естественным путём, через возраст и усталость. У него больше нет сил чувствовать.

— Улыбнись, — мысленно прошу я.

Не говорю, не требую. Просто шепчу внутри: было бы хорошо, если бы он улыбнулся. Хотя бы раз. Хотя бы сейчас. Мир стал бы чуть менее серым, если бы старик улыбнулся.

Мужчина останавливается. Его губы кривятся — сначала в одну сторону, потом в другую, как будто он переучивается делать то, что разучился много лет назад. Мышцы лица работают с трудом — они забыли, как двигаться. Уголки губ ползут вверх. Медленно. Неуверенно. Они растягиваются в улыбку — неловкую, механическую, почти страшную. Он улыбается, но глаза остаются пустыми. В них нет ни радости, ни тепла. Только лёгкое замешательство — откуда эта улыбка? Зачем она? Что она значит?

Мне становится не по себе. Внутри что-то сжимается — не сердце, нет. Что-то другое. Остаток совести, наверное. Последний её осколок, застрявший где-то между рёбер.

— Достаточно, — говорю я вслух, отворачиваясь. — Не надо больше.

— Почему? — спрашивает Лир. — Он же улыбнулся. Ты добилась результата. Чистого, без побочных эффектов. Он сейчас пойдёт дальше, и улыбка останется с ним на пару минут. Может, кто-то увидит её и улыбнётся в ответ. Ты сделала мир чуточку лучше.

— Потому что это было жутко. Он не хотел улыбаться. Я заставила его сделать то, что ему не нужно. Что противоречит его... состоянию.

— Ты заставила его улыбнуться. В этом нет ничего плохого. Улыбка — это не боль. Улыбка — это движение мышц.

— Улыбка без причины — это симптом. Неврологический. Он сейчас подумает, что у него инсульт.

Лир замолкает. Тишина длится секунду, две, три. А потом — я слышу это всем телом, вибрацией, проходящей сквозь пол, сквозь стены, сквозь мои кости, — он смеётся. Беззвучно, но так, что воздух вокруг нас дрожит.

— У тебя есть совесть, — говорит он наконец. — Это неожиданно. Большинство Пробуждённых теряют её на третьей тренировке. Когда понимают, что могут заставить кого угодно делать что угодно. Когда вкушают власть. А ты держись дольше. Интересно.

— Я не хочу терять совесть.

— Тебе и не придётся. Ты просто перестанешь её слышать. Как фоновый шум — он есть, но ты его не замечаешь. Как шум холодильника. Как тиканье часов. Совесть станет тише, тише, тише — а потом исчезнет. Не в один день, нет. Постепенно. Как слух у старика.

Я смотрю на старика, который уже отошёл на несколько метров. Его улыбка всё ещё держится на лице, но теперь она выглядит так, будто он вспомнил что-то хорошее. Или, может, он действительно вспомнил — и моя сила просто подтолкнула его в нужном направлении.

После пятой попытки — девушка, которая поправила волосы; парень, который остановился завязать шнурок; женщина с ребёнком, которая купила мороженое не себе, а ему — у меня начинает сильно кружиться голова. Слабость разливается по ногам, как холодная вода — сначала колени становятся ватными, потом бёдра, потом поясница. Толпа вокруг начинает плыть — лица сливаются в одно серое пятно, голоса звучат, как радио на дальней волне, сквозь помехи и треск.

Я хватаюсь за поручень. Металл холодный, липкий от чужих прикосновений. Держусь изо всех сил, чтобы не упасть.

— Ты тратишь слишком много, — замечает Лир. Он стоит рядом, но не пытается помочь — просто смотрит. — Ты не восстановилась после вчерашнего. Нужно есть. Срочно. И пить. Не энергетики. Воду. Чистую воду, без газа, без сахара.

— Не хочу, — автоматически отвечаю я. Это не каприз — я действительно не чувствую голода. Только пустоту в желудке и слабость в теле. Но связь между ними отсутствует.

— Это не вопрос желания. — Его голос становится жёстким, почти металлическим. Холод, исходящий от его тела, усиливается — теперь он обжигает, как морозный воздух. — Ешь, или я сам заставлю тебя, и тебе не понравится, как я это сделаю. Я могу выжечь твоё чувство голода — полностью, навсегда. Ты перестанешь хотеть есть вообще. Но твоё тело всё равно будет разрушаться. Ты умрёшь от истощения с ясной головой, которая не понимает, почему отказывают ноги. Это не угроза. Это констатация факта.

Угроза звучит не сексуально — хотя кто-то, может, и возбудился бы от такого. Она звучит холодно. Как укол. Как скальпель, разрезающий кожу без анестезии. Я верю ему. Я верю каждому слову, потому что Лир не врёт — он сам так сказал, и пока что это подтверждалось.

Я послушно иду в кафе на эскалаторах — маленькую стеклянную будку, где продают кофе, круассаны и безвкусные сэндвичи в пластиковых упаковках. Очередь — три человека. Я жду, переминаясь с ноги на ногу. Запах кофе бьёт в нос — горький, пережжённый, дешёвый. В очереди передо мной женщина с ребёнком — мальчик лет пяти, он ноет, что хочет шоколадку, и женщина шипит на него: «Замолчи, никаких шоколадок, у тебя диатез». Мальчик не замолкает.

Я заказываю самый калорийный круассан с шоколадом и бутылку воды. Продавщица — девушка с розовыми волосами и пирсингом в носу — протягивает мне заказ, не глядя на меня. Круассан тёплый, масляный, от него пахнет выпечкой и дешёвым маргарином. Шоколад ещё жидкий — он вытекает из надреза, капает на бумажную салфетку. Я откусываю.

Жую без вкуса. Тесто прилипает к нёбу, шоколад сладкий до тошноты — приторный, с химическим послевкусием. Но я жую. Глотаю. Откусываю ещё. Ещё. Механически, как машина. Челюсти двигаются, зубы перемалывают пищу, горло проталкивает её в желудок. Я не чувствую ни удовольствия, ни насыщения. Только холод в животе, который постепенно отступает.

Через пять минут головокружение уходит. Ноги перестают быть ватными — теперь они просто усталые. Туман перед глазами рассеивается — лица вокруг снова становятся лицами, а не пятнами.

— Сила потребляет глюкозу, — объясняет Лир, пока я жую, с трудом проглатывая каждый кусок. Он стоит рядом с киоском, и его отражение в стеклянной витрине выглядит как

тёмное пятно — не человек, а силуэт. — И электролиты. И кислород. И, если ты будешь голодать, белок из твоих мышц. Сердце — тоже мышца. Ты поняла.

— Ты сейчас говоришь как фитнес-тренер, — бормочу я с набитым ртом. Крошки выпадают изо рта, я вытираю их рукавом. — Сексуальный фитнес-тренер из ада.

— Я не человек, Алина. Не приписывай мне человеческих ролей. — Его голос ровный, но в нём появляется лёгкое раздражение — или мне кажется? — Я не тренер, не друг, не любовник. Я — паразит, который заботится о носителе, потому что носитель — его дом. Ты не ремонтируешь дом из любви. Ты ремонтируешь его, чтобы не замёрзнуть зимой. Чтобы крыша не протекла. Чтобы стены не рухнули.

Я допиваю воду. Она безвкусная — просто жидкость. Но холодная, и это приятно. Горло сужается от холода, и на секунду я чувствую что-то похожее на физическое удовольствие — не эмоцию, нет, просто телесную реакцию.

— Домой? — спрашиваю я, выбрасывая бутылку в урну. Мимо.

— Домой, — соглашается Лир.

5

Я возвращаюсь домой около двух часов дня. Ключ поворачивается в замке с привычным скрежетом — старый механизм, который давно просит смазки, но я опять забыла купить масло. Я толкаю дверь плечом — она застревает, как всегда, потом поддается с глухим стуком.

Квартира встречает запахом Андрея.

Это не один запах — это целый букет. Его одеколон — дешёвый, с резкой цитрусовой нотой и мускусной базой, он висит в воздухе, как застарелый дым. Его пот — сладковатый, как после тренировки, хотя он не тренировался уже год. Его гель для душа — «мужской спорт», пахнущий ментолом и чем-то химическим, что должно имитировать морскую свежесть. Его присутствие — трудноуловимое, но вездесущее. Так пахнет в квартире, где живёт мужчина.

Он вернулся с работы раньше обычного. Это странно — обычно он в офисе до шести, а иногда и до восьми.

— Ты где была? — кричит он из кухни.

— Гуляла, — отвечаю я, снимая кроссовки. Ставлю их на коврик у двери — рядом с его туфлями, которые он бросил как попало. Одна на боку, другая — носок в носок, как два пьяных солдата, уснувших в обнимку. Я смотрю на них несколько секунд. Раньше я бы подняла их, поставила ровно. Сейчас — нет. Перешагиваю и иду в коридор.

Андрей выходит навстречу.

На нём нет рубашки — только домашние штаны, серые, в мелкую клетку, с дыркой на левом колене. Волосы мокрые, прилипли ко лбу тёмными прядями — только что мылся, и пар от душа до сих пор клубится из открытой двери ванной, стелется по полу белыми щупальцами. На груди — несколько капель воды, не вытертых полотенцем. И родинка чуть выше соска — маленькая, тёмная, неправильной формы. Я когда-то целовала её, думая, что это центр вселенной, что без неё моя жизнь рассыплется, как карточный домик. Теперь это просто родинка. Пятно меланина на фоне бледной кожи.

— Гуляла? — переспрашивает он. — Одна? В таком настроении? Ты даже зубы не чистила три дня, я тебя видел. Сидела на диване, смотрела в потолок, как овощ. А тут вдруг «пошла гулять». Что-то случилось?

— А что, нельзя?

— Можно. Просто странно. — Он прищуривается. Обычно его глаза светло-карие, почти жёлтые на солнце. Сейчас, в тусклом свете коридора, они кажутся чёрными. Зрачки расширены — то ли от тусклого света, то ли от подозрения. — Ты выглядишь по-другому.

Я замираю.

В коридоре тихо. Только холодильник гудит на кухне и вода капает в ванной — он забыл плотно закрыть кран. Лир, который всё это время стоял у меня за спиной, теперь скользит в

сторону, прячась за косяком двери в гостиную. Я чувствую его внимание — как луч прожектора, направленный на Андрея. Он смотрит на моего парня так, как смотрят на интересный экспонат в музее. Или на обед.

— Лучше? — спрашиваю я с напускной лёгкостью. Голос звучит фальшиво — я сама слышу фальшь, как скрипку, расстроенную на полтона.

— Не знаю. Иначе. — Он наклоняет голову набок. — У тебя губы краснее, что ли? И глаза не помню, чтобы они были такого цвета. Ты что, накрасилась?

— Макияж, — пожимаю я плечами.

— Ты не красилась. — Он делает шаг ближе. Между нами полметра, и воздух в этом полуметре наэлектризован. — Нет следов тонального. У тебя тональный крем — он оставляет следы на воротнике, я знаю, я стирал твои свитера. А сейчас — ничего. И ресницы не накрашены.

Я опускаю взгляд. На серой ткани свитера — ни пятен, ни разводов. Чёрт.

— Может, ты просто привык видеть меня уставшей, — говорю я, не поднимая глаз. — Я выспалась. Поела. Кофе выпила. Погуляла на свежем воздухе. Люди меняются, когда высыпаятся, ты знал?

Он не отвечает. Смотрит на меня ещё несколько секунд — я чувствую его взгляд кожей, как солнечный ожог. Потом разворачивается и идёт на кухню. Я за ним.

Кухня выглядит так же, как утром, но теперь на столе — тарелка с недоеденным омлетом. Желток застыл, превратился в резину, зелень пожухла. И две чашки. Обе из-под кофе — на дне коричневые кольца. Одна — его любимая, с надписью «World's Best Dad» (нам её подарили на работе, у нас нет детей, это просто шутка). Вторая — гостевая, которую мы достаём только когда приходят гости. Или гости.

Он завтракал не один.

Пустота в груди сжимается. Нет — не сжимается. Просто становится глубже. Как будто там, где раньше была яма, теперь пропасть. Я смотрю на чашку, и внутри не закипает ревность. Не вспыхивает обида. Просто констатируется факт: он пил кофе с кем-то ещё. С кем-то, кто не я. И этот кто-то, возможно, сидел на моём стуле.

— С кем ел? — спрашиваю я, кивая на вторую чашку.

— Один, — слишком быстро отвечает он. — Взял две, потому что первая была грязная.

Ложь. Я чувствую ложь кожей. Не потому что я экстрасенс или эмпат — потому что я знаю его привычки. Знаю его два года. Он никогда не пьёт из двух чашек подряд. Он вообще пьёт кофе только из своей кружки — говорит, что из неё вкуснее. Он моет посуду раз в неделю, и грязная кружка его никогда не останавливала. Он может пить из одной и той же чашки неделю, не моя.

— Понятно, — говорю я. Не спорю. Не потому что мне всё равно — потому что я хочу проверить силу. На близком. На том, кто меня знает. На том, кто заметит.

Я смотрю на него. Концентрируюсь. И чувствую не любовь, не раздражение, не ревность. Желание. Не сексуальное — властное. Я хочу, чтобы он замолчал. Не ушёл, не исчез, не признался в измене — просто перестал задавать вопросы. Перестал смотреть на меня так, будто я подозреваемая на допросе, а он — следователь, который знает, что я виновна, но пока не нашёл доказательств.

Я не толкаю. Я внушаю. Убеждаю. Как учил Лир — не командой, а чувством. Будто бы в комнате становится тесно от его вопросов, и единственный способ вдохнуть — это чтобы он замолчал. Воздух сгущается, давит на плечи, на грудь. Тишина — вот что нужно. Тишина — это свобода.

— Ты устал, — говорю я тихо.

Мой голос — низкий, непривычный. Он звучит так, как звучал бы голос Лира, если бы Лир был женщиной. Вкрадчивый. Обволакивающий. Пробирающийся в мозг через уши и дальше, глубже, в самые потаённые уголки.

— Иди отдохни.

Он колеблется секунду. Его рот открывается, чтобы возразить — я вижу, как губы начинают формировать слово, какое-то «но» или «подожди». Но слова не выходят. Они застревают в горле, как кость. Я чувствую, как сила течёт по моим пальцам, скручивается в маленький клубок в солнечном сплетении. Тёплый. Пульсирующий. Голодный.

Андрей моргает. Раз, другой, третий — как человек, который пытается проснуться, но не может. Его плечи опускаются — мышцы расслабляются, как спущенный воздушный шарик. Лицо разглаживается, становится детским, беззащитным. Так он выглядит во сне — когда спит и не знает, что я смотрю на него.

— Да, — говорит он чужим голосом. — Я пойду посплю.

Поворачивается и идёт в спальню. Его походка — нетвёрдая, как у пьяного или сомнамбулы. Он не идёт — бредёт, ведомый чужой волей. Через минуту я слышу, как он падает на кровать — тяжело, не раздеваясь. Так падают только обессиленные или те, кому подсыпали снотворное.

Тишина.

Она звенит в ушах. Громче, чем шум метро. Громче, чем гул толпы.

Лир выходит из тени. Теперь он более плотный — почти как живой человек. Я вижу складки на его пиджаке, отблеск света на пуговицах, тени под ключицами. Он останавливается в метре от меня, скрещивает руки на груди.

— Поздравляю, — говорит он. В его голосе — ни тепла, ни осуждения. Только оценка. — Ты только что успешно использовала убеждение на близком. Правда, метод снова грубоват. Ты не внедрила ему мысль — ты просто выключила его критическое мышление на время. Как будто нажала «стоп» на пульте. Или как будто оглушила рыбу динамитом — быстро, эффективно, но какой ценой?

— Это плохо?

— Это как выбить дверь вместо того, чтобы открыть ключом. — Он подходит ближе. Его холод касается моей щеки — не физически, но я чувствую его кожей, как прикосновение льда. Я отшатываюсь. — Дверь сломана. Через пару часов он очнётся и будет смутно помнить, что хотел о чём-то спросить. Будет ходить по квартире с ощущением, что что-то не так. А через несколько таких «выбиваний» начнёт подозревать. Заметит, что в твоём присутствии у него случаются провалы в памяти. Что он теряет время. Что он засыпает, когда не хочет.

— И что делать?

— Учиться нюансам. Внедрять мысли аккуратно, как хирург вводит иглу — чтобы пациент не почувствовал укола. Но для этого нужно время. И практика. Много практики. А пока — не переусердствуй с ним. Иначе он побежит к психологу, а психолог может заметить странности. Или, что хуже, в отдел «Гармонизации». А там работают не дураки. Они почувствуют Пелену за версту. У них есть на это приборы, протоколы, обученные оперативники. Они придут к тебе домой.

Я сажусь на диван в гостиной. Круассан тяжелеет в желудке — не физически, а метафорически. Голова гудит, но уже не от слабости. От мыслей. Слишком много мыслей для одного дня. Для одного человека.

Лир садится напротив меня — в кресло, которое Андрей купил на прошлый день рождения и на котором никто никогда не сидит. Кресло новое, с этикеткой на подлокотнике — он её так и не снял. Лир не касается обивки, висит в двух сантиметрах от неё. Его серые глаза без зрачков смотрят на меня с холодным любопытством — так смотрит учёный на лабораторную мышь, которая научилась новому трюку.

— А если я захочу сделать что-то большее? — спрашиваю я. — Не просто «пойти туда» или «замолчать». Что-то глобальное. Например, чтобы Андрей меня полюбил по-настоящему. Не жалел, не терпел, а любил.

Лир молчит несколько секунд. Тишина в комнате становится вязкой, как мёд. Или как гудрон, вытекающий из разбитой цистерны. Медленно. Тягуче. Неотвратно. Потом его губы растягиваются в улыбке — но не тёплой, не человеческой. Это улыбка человека, который видит, как ребёнок тянется к огню, и знает, что ребёнок обожжётся. Но не останавливает его. Потому что на ошибках учатся.

— Тогда тебе потребуется цена, — говорит он. — Чем сильнее желание, тем больше эмоций ты должна отдать. Не просто почувствовать, а именно отдать. Навсегда. Без возможности возврата.

— Что значит «навсегда»?

— Это значит, что ты больше никогда не испытаешь эту эмоцию. Никогда, ни при каких обстоятельствах. Воспоминания о чувствах останутся. Ты будешь знать, что когда-то любила мать. Но не будешь помнить, каково это — прижиматься к ней в детстве, чувствовать запах её духов, слышать её голос. Ты будешь знать, что боялась высоты. Но когда окажешься на крыше двадцатипятиэтажного дома и посмотришь вниз, у тебя не ёкнет сердце. Эмоции станут фактами. Текстом в учебнике. Ты можешь пересказать их, но не пережить заново.

Он делает паузу. Его глаза — серые, клубящиеся — не отрываются от моего лица.

— А если я захочу заставить Андрея любить меня? — спрашиваю я. Мой голос звучит глухо, как через подушку. — Это стоит моей способности любить в ответ?

— Стоит, — кивает Лир. — Ты перестанешь испытывать привязанность к кому бы то ни было. Вообще. Не только к Андрею — к любому человеку. К матери, к друзьям, к будущим детям, если они у тебя будут. Сможешь смотреть на их смерть и не моргнуть. Сможешь убить человека и не вздрогнуть. Но Андрей будет обожать тебя. Искренне. Глубоко. До гроба. До последнего вдоха. Он будет просыпаться с мыслью о тебе, засыпать с твоим именем на губах, жить ради тебя и умрёт за тебя, если потребуется.

— Это не любовь. Это рабство.

— Ты спросила про «заставить». Я ответил.

Я смотрю на свои руки. Сила всё ещё пульсирует под ногтями — слабо, но настойчиво. Фиолетовые искры пробегают по костяшкам, исчезают в складках кожи. Я могу сделать так, что Андрей станет моей марионеткой. Могу сделать так, что любой человек в этой комнате выполнит любой приказ. Но цена — последнее, что осталось человеческого во мне. Последние крохи. Последние осколки.

— Не хочу, — говорю я.

— Умное решение, — отвечает Лир. — Пока ещё.

Он встаёт и подходит к окну. Движения плавные, текучие — как будто его тело сделано из жидкости, заключённой в человеческую форму. Он смотрит на улицу, где серый ноябрьский день медленно перетекает в серый ноябрьский вечер. Сквозь его полупрозрачное тело я вижу двор-колодец — мрачный четырёхугольник, зажатый между панельными многоэтажками. Гаражи-ракушки, похожие на панцири мёртвых черепах. Детская площадка с разбитыми качелями. Старуху, выгуливающую таксу — собака натягивает поводок, старуха орёт на неё, но без злобы, привычно.

— Сила — это обмен, — говорит Лир, не оборачиваясь. Его голос звучит задумчиво, почти меланхолично. — Равноценный обмен. Ты не получишь ничего за просто так. Таков закон. Даже я не даю ничего бесплатно. Я беру свою долю каждый раз, когда ты чувствуешь. Радость, страх, злость, похоть — всё идёт в общую копилку. В меня. И если ты почувствуешь слишком сильно — я вырасту. Стану настоящим. Смогу касаться мира без твоего посредничества.

Он оборачивается, и в его глазах на секунду появляется что-то, похожее на голод. Глубинный. Древний. Не человеческий.

— Это опасно? — спрашиваю я.

— Это неизбежно. — Он смотрит на меня, и я чувствую себя мышью под взглядом змеи. — Вопрос лишь в том, успеешь ли ты научиться контролировать меня до того, как я начну контролировать тебя. До того, как симбиоз превратится в паразитизм.

В спальне тихо. Андрей спит, и я слышу его дыхание — ровное, спокойное, беззаботное. Он не знает, что я стою за дверью и смотрю на светящиеся кончики своих пальцев. Он не знает, что сегодня утром я заставила незнакомых людей подчиняться моим желаниям. Он не знает, что в двух метрах от него стоит сущность, которая питается моими эмоциями и ждёт, когда я оступлюсь.

Я сжимаю пальцы в кулаки. Свечение гаснет — фиолетовые искры втягиваются под ногти, исчезают в коже. Остаётся только тепло. И слабость.

— Завтра, — говорю я Лиру, разжимая кулаки, — научи меня защищаться. Чтобы никто не мог сделать со мной то же самое. Чтобы я не была мишенью для таких, как я.

Он кивает — медленно, задумчиво.

— Завтра, — соглашается он. — Завтра мы начнём с защиты. А сегодня тебе нужен отдых. Завтра будет больно.

Я иду в спальню. Открываю дверь — она скрипит, но тише, чем обычно, будто даже петли боятся нарушить тишину. Андрей лежит на кровати, раскинув руки, как ребёнок. Его лицо безмятежно — ни тревог, ни вопросов, ни подозрений. Я сделала это с ним. Я выключила его, как телевизор. И он даже не узнает об этом.

Я ложусь рядом — не касаясь его, на своей половине кровати. Потолок надо мной белый, с трещиной в углу, похожей на паутину. Я смотрю на него и думаю о завтрашнем дне. О боли. О защите. О том, сколько ещё эмоций мне придётся отдать, чтобы остаться в живых.

Лир стоит в дверях спальни, невидимый для спящего Андрея, но видимый для меня. Его серые глаза смотрят на нас обоих — на спящего мужчину и на бодрствующую женщину. И в его взгляде я читаю не угрозу — нет. Что-то другое. Любопытство, смешанное с... нетерпением? Предвкушением?

Он ждёт. У него есть время. У него есть всё время этого мира.

А у меня — только завтра.

Глава 3 Пепел

1

Пробуждение похоже на удар током — только вместо разряда в щеку тычут мокрой тряпкой. Лир здесь ни при чём: его дыхание холодом скользит по затылку, но он не касается. Его присутствие — как сквозняк в комнате с запертыми окнами: ты знаешь, что он есть, но не можешь поймать источник.

Андрей нависает надо мной, сжимая в руке кухонное полотенце. Он выглядит так, будто не спал не сутки — последнюю неделю. Кожа серая, веки набрякли, волосы торчат в стороны, как солома, пережившая ураган.

— Ты в порядке? — Его голос звучит так, будто горло драили наждачкой и забыли прополоскать.

Я сажусь. Мир наклоняется — палуба в шторм, перегрузка. Голова гудит не болью, а мерзкой вибрацией, будто сосед включил дрель в воскресенье, когда ты только заснула. Во рту — привкус вчерашнего круассана, энергетика и ещё чего-то металлического, как будто я лизала батарейку.

— Что? — Собственный голос звучит чужим — будто я надышалась гелием. Слишком тонко, слишком звонко.

— Ты вчера вырубилась на диване. — Андрей садится на край, диван скрипит жалобно, как побитая собака. — Я три часа тебя тряс. Думал, инсульт. Или эпилепсия. Алин, ты меня пугаешь.

Я вспоминаю. После разговора с Лиром я просто легла. Прилегла на минуту, закрыла глаза — и провалилась. Это был не сон, не обморок. Отключка. Будто кто-то выдернул шнур питания — и все лампочки внутри погасли разом. Ни снов, ни темноты. Просто — аннигиляция.

— Устала, — отвечаю я, и губы слипаются. — Стримы, монтировка, бессонница.

— Устала она. — Андрей проводит ладонью по лицу. Под глазами — синяки не тени, а лиловые провалы, такие бывают у хосписных больных или у матерей тройняшек. — Ты последние дни странная. То овощ, то бегаешь по ночам, то вырубаешься. Может, к врачу?

— Может, ты пойдёшь на хуй?

Я не хотела этого говорить. Слово вылетело само — не оскорбление, чих. Или рвота: организм извергает то, что не может переварить. Раньше я никогда так не разговаривала с Андреем. Даже когда он возвращался с запахом чужой туалетной воды — сладкой, приторной, как сироп от кашля. Даже когда врал про задержки. Я молчала. Переваривала. Превращала обиду в язву, которая тлела где-то под рёбрами. Сейчас я не проглотила.

Андрей замирает. Медленно, как тесто под скалкой, его лицо вытягивается. В глазах — не обида. Удивление. Словно его любимый лабрадор заговорил голосом Олега Лиги.

— Чего?

— Извини. — Я тру лицо ладонями. Кожа горячая, воспалённая, будто я прижималась к батарее. — Прости. Нервы. Переутомление.

Он смотрит на меня несколько секунд. Пауза вязкая, как гудрон на июльском асфальте. Я слышу, как тикают настенные часы. Как включается мотор в холодильнике. Как сердце стучит где-то в горле — мелко, панически.

Андрей поднимается. Медленно, с трудом, будто у него болят суставы.

— Я на работу. Вернусь поздно. — Он идёт к двери, на ходу натягивая рубашку. Пуговицы не слушаются, пальцы дрожат. Перед выходом оборачивается. Смотрит не на меня — сквозь. — Ты очень изменилась, Алин. Не в лучшую сторону.

Дверь хлопает. От этого звука внутри лопаются что-то — маленькая перепонка, о существовании которой я не знала.

Лир появляется из пустоты. Обычно я чувствую его приближение — холод вдоль позвоночника, запах озона. Сейчас он просто есть. Материализуется из воздуха, как вырезанная сцена в кино. Сегодня он почти плотный — я вижу его тень на полу. Короткую, рваную, с расползающимися краями. Тень человека, у которого нет плоти.

— Ты груба с ним, — замечает он. Голос ровный, даже ленивый. — Сила развязывает язык. Эмоции, которые ты подавляла годами, выходят наружу как газ из треснувшего баллона. Скоро ты начнёшь говорить всё, что думаешь.

— И это плохо?

— Это честно. А честность — редкость, особенно в мире, где все носят маски поверх масок. Но Андрей не оценит. Он привык к твоей покорности. Ты была удобной — пластиковым пакетом: и не жалко выбросить, и в хозяйстве пригодится. Теперь ты стала ножом. А ножи режут руки.

Я встаю. Тело слушается плохо — как машина на холодном двигателе. Иду на кухню, каждый шаг — будто по дну бассейна, заполненного киселём. Открываю холодильник. Вчера, перед отключкой, я ходила в магазин — как зомби, на автопилоте. Помню: сумерки, моросящий дождь, жёлтый свет в окнах гастронома. Купила яйца, хлеб, масло, помидоры. Пачку творога, который терпеть не могу. Лир сказал тогда: «Если не купишь, я выжгу твой голод. Будешь жрать как выучный верблюд и не чувствовать вкуса». Я купила.

— Научи меня защищаться, — говорю я, разбивая яйца о край миски. Скорлупа хрустит под пальцами — приятно, почти медитативно.

— Обещал. — Лир садится на стул, но теперь не висает, а опирается на спинку. Прогресс. Его форма с каждым днём становится плотнее — как заживающая рана обрастает кожей. — Защита от чего?

— От других Пробуждённых. От Эхо. От того, чтобы меня не взяли за жопу.

Он усмехается — кривой улыбкой, похожей на трещину в асфальте.

— Последнее — просто. Никто не возьмёт тебя, если ты сама не захочешь. Сила Синта — в желании. В умении хотеть так сильно, чтобы это перекрывало все остальные звуки, как оркестр перекрывает шёпот. Если ты не желаешь — ты почти невидима. Но почти — это не совсем.

Он объясняет механику: каждое Эхо оставляет на носителе след. Невидимый, но осязаемый, как отпечатки на свежей краске. Синты — соблазн и желание. Их оружие — твои собственные слабости. Защита — в умении распознавать чужие желания и отрезать их. Как гнилой кусок от здорового мяса.

— Твои эмоции — это дом, — говорит Лир, пока я жарю яичницу. Масло шипит, пузырится, лопается. — Ты — хозяйка. Ключи только у тебя. Но любой, кто сильнее, может выбить дверь ногой. Или заморозить замок и разбить молотком. Чтобы этого не случилось, нужно поставить решётки. Решётки — твоя воля. Замки — боль.

— Боль?

— Самый надёжный замок. Глупая эволюция сделала боль примитивным сигналом: отойди от огня, дурак. Но если шире — боль это якорь. Самый тяжёлый и глубокий. Попробуй сейчас: сделай так, чтобы я не мог читать твои мысли.

Я пытаюсь. Сжимаю челюсти, зажмуриваюсь. Представляю стену — бетонную, трёхметровую, с колючей проволокой поверху.

— Ничего. — Лир скучает. — Я всё равно вижу. Твою тревогу — оранжевую, как пламя газовой плиты. Голод — жёлтый, вялый. И возбуждение от того, что я рядом.

— Нет никакого возбуждения, — огрызаюсь я, и голос звенит слишком высоко.

— Есть. Слабое — как радиосигнал из другого города сквозь помехи. Но есть. Контракт связывает нас не только эмоциями. Влечением. Ты будешь хотеть меня. Не как человека — как наркотик. Я буду хотеть тебя — как еду. Как последний кусок мяса в голодную зиму.

Я выключаю плиту. Яичница почти готова — края поджарились до хруста, желтки ещё жидкие. Но есть расхотелось. Во рту — горечь и медь.

— Защита через боль, — говорю я. — Как это работает?

— Когда кто-то пытается внушить тебе желание — своё, чужое, неважно — ты делаешь себе больно. Физически. Достаточно, чтобы мозг переключился с чужого сигнала на свой. Ущипни, ударь, прикуси губу до крови. Боль — это якорь. Она возвращает тебя в тело. Выдёргивает из транса.

Я смотрю на свою руку. Подушечки пальцев слабо светятся — золотистым, как светлячки в банке.

— И это всё? Ущипнуть — и готово?

— Для начала. Потом научишься ставить ментальные блоки. Но это месяцы. А пока — боль. Она твой лучший друг. Твой ебанный ангел-хранитель.

Я допиваю чай. Жгучий, с мятой, почти кипяток — обжигает горло, оставляет след внутри, как лава. Лир смотрит, как я глотаю. Его взгляд становится голодным. Не сексуальным — хищным. Волк, наблюдающий за раненым оленем.

— Сегодня мы пойдём в другое место, — говорит он. — Метро — детский сад. Песочница с пластмассовыми совочками. Сегодня — ночной клуб.

— Какой клуб? — я чуть не давлюсь. — День сейчас. Солнце.

— Клуб «Пепел». Работает круглосуточно. Там нет окон — и времени тоже. Там тусуются Пробуждённые, мелкие Эхо, искатели контрактов. Нейтральная территория. Тебе нужно показаться.

— Зачем?

— Чтобы другие знали: ты под моей защитой. Старый Лир вернулся, и у него новый носитель. И чтобы ты знала: ты не одна. Иногда помогает смотреть на тех, кто глубже в дерьме.

Я замираю. Ложка висит.

— Ты сказал — уроды. Ты считаешь себя уродом?

Лир молчит. Пауза тянется, как нить, которую тянут, и она вот-вот порвётся.

— Я считаю себя удачливым паразитом. — Он произносит это медленно, пробуя слова на вкус. — Люди, которые пускают в себя таких, как я, — либо отчаянные, либо глупые. Ты — второе. Но, может, станешь первой.

2

Клуб «Пепел» — подвал заброшенного хлебозавода на окраине Астари. Лир ведёт пешком: таксисты любопытны, метро слишкомлюдно. Мы идём через пустыри и промзоны, мимо ржавых гаражей и спящих собак. Город здесь — изнаночный: выбитые стёкла, облупившаяся краска, запах мочи и прелых листьев. Воздух тяжёлый, как перед грозой. Над заводской трубой висит облако — не туча, а зелёноватое, почти живое.

— Там Шёпот, — кивает Лир. — Сдох на крыше, разложился. Воняет магией. Через неделю выветрится.

— Они пахнут?

— Всё пахнет, Алина. Даже мысли, если уметь принюхиваться. Твои сейчас пахнут страхом — озоном после удара. И любопытством — бензином. Ты хочешь туда, но боишься. Это правильно.

Вывеска клуба — неоновая, но одна буква не горит: «П_пел». Читается как «попел» или «папел». Лир сказал, так задумано — чтобы нормальные проходили мимо, думая: а, очередная развалюха.

Охранник на входе — мужик под два метра, бычья шея, на лице шрам ржавого цвета. Не тату — шрам. И он шевелится. Ползёт по щеке, как червяк под кожей, сокращается, замирает.

— Ты кто? — голос — гравий в бетономешалке.

— Алина. — Голос не дрожит. Удивительно. Пальцы дрожат — мелкой противной дрожью. Я прячу их в карманы.

— Не знаю никакую Алину.

— Она со мной. — Лир выходит из-за моей спины. Сегодня он почти зрим — не черты, а очертание: острые скулы, впалые щёки, глаза без зрачков.

Охранник видит его и бледнеет. Кожа становится серой, как старая простыня. Шрам замирает.

— Лир, — выдыхает он. — Ты вернулся.

— Я никуда не уходил. Просто сменил носителя. Эта — моя. Пропусти.

Он отступает. Я прохожу.

Клуб — огромный зал с низким потолком, с которого свисают лампы в металлических клетках. Свет тусклый, красноватый — как внутри живого организма. Вместо музыки — низкий гул, похожий на трансформатор. Он вибрирует не в ушах — в костях, в позвоночнике, в зубах.

В углу бар. За ним — девушка с фиолетовыми глазами. Не линзы: настоящий фиолет, вертикальные зрачки. Кошачьи. Она смотрит на меня и улыбается. Зубов не видно, но я чувствую: они острые.

— Шёпот? — спрашиваю у Лира.

— Нет. Пробуждённая. Контракт с Синтом, как ты. Тоже короткий, тоже дура. Её зовут Жанна. Не водись.

— Почему?

— Потому что съест на завтрак. Её Эхо — Зависть. Питается чужими достижениями. Чем круче твоя жизнь, тем сильнее она хочет её отобрать.

В зале человек двадцать. Сидят за столиками, стоят у стен. Некоторые выглядят нормально: дорогая одежда, уверенные позы, часы. Такие ходят по «Пеплу» как по гостиной. Другие — как бомжи: грязные, с горящими глазами, подёргивающимися пальцами, обкусанными губами. У некоторых за спиной — Эхо: полупрозрачные фигуры. Ждут, кормятся, следят. Акулы за бортом.

— Они видят тебя? — шепчу я.

— Кто-то. Пробуждённые видят проекцию. Обычные — нет. Не пялься, это оскорбление. Представь, что кто-то пялится на твои голые сиськи в раздевалке.

Я отвожу взгляд — и натыкаюсь на парня у бара. Он смотрит на меня.

Молодой, лет двадцать пять, может, чуть больше. Русые волосы в низком хвосте. Глаза светло-зелёные — молодая листва на просвет. Веснушки на носу и скулах рассыпью, как брызги краски. Простая футболка, потёртые джинсы. Без выпендрёжа. За его плечом — Эхо. Но не такое, как у других.

Не серое, не мерцающее. Зелёное — мягкое, тёплое, светящийся мох на старых камнях. Оно пульсирует медленно, как дыхание спящего.

— Кто это? — спрашиваю я.

Лир молчит. Его лицо каменеет. Челюсти сжаты, плечи напряжены.

— Носитель Корня. — Голос севший, будто он выпил нашатыря. — Почти вымерли, как белые медведи. Его зовут Данила. Держись подальше.

— Почему?

— Корни — наша противоположность. Мы питаемся эмоциями, перевариваем. Они — исцеляют. Затыкают раны. Если он коснётся тебя, может заглушить контракт. Это больно —

как игла в глаз. Опасно: если проникнет слишком глубоко, контракт разорвётся. Ты знаешь, что будет.

Парень встаёт и идёт к нам. Неторопливо, как человек, который никуда не опаздывает. Эхо плывёт следом, оставляя в воздухе зелёный след. Пахнет лесом после дождя, мокрой корой, грибами.

— Привет, — говорит он. Голос тихий, но спокойный. Без надрыва, без фальши. — Ты новенькая?

— Алина.

Лир сжимает моё плечо — невидимой рукой, но я чувствую холод, компресс из льда на коже. До костей.

— Данила. — Он протягивает руку. Ладонь открытая, пальцы расслаблены. Жест доверия.

Я не беру. Не могу. Лир парализовал меня — или моё тело само. Пальцы примерзли к бедрам. Язык прилип к нёбу.

Он не обижается. Убирает ладонь в карман. Смотрит на меня — и в его взгляде нет ни осуждения, ни жалости. Только что-то похожее на грусть.

— Твой Синт очень старый, — говорит Данила. — Я чувствую по запаху, по вибрации. Сколько ему? Сто? Двести?

— Не твоё дело, — рычит Лир. Голос становится ниже, вибрирует как струна контрабаса. — Уйди, Корень.

— Мне жаль тебя, Алина. — Данила не смотрит на Лира, только на меня. — Короткие контракты — плохо. Долгие — ещё хуже. Но такие, как твой — Он качает головой. — Ты не выбирала. Он выбрал тебя.

Что-то внутри обрывается. Нить, которую держали слишком долго.

— Что ты несёшь? — Злость поднимается — горячая, живая, растекается по венам как гретый мёд. Лир впитывает её — и я становлюсь спокойнее. Холоднее. — Я сама подписала контракт. Сама.

— Ты подписала контракт с тем, кто ждал тебя годами. — Данила говорит это так просто, будто объясняет, как работает чайник. — Лир — не просто Синт. Он одно из первых Эхо. Он пережил десятки носителей. Все мертвы. Или хуже.

Лир шагает вперёд. Почти плотный — я вижу, как сжимаются его кулаки, как воздух вокруг начинает искрить.

— Уйди, — цедит он. — Пока я не сделал тебе больно.

— Ты не можешь сделать мне больно. — Данила спокоен. — Корни не чувствуют вашей магии. Мы — прививка. Иммунитет. Вы для нас как красный свет для дальтоника. Просто не замечаем.

Он смотрит на меня — и взгляд становится мягче, теплее.

— Если захочешь поговорить без него, приходи в «Эрмитаж». Кафе на Лиговском. Я работаю вечерами. Пятница, суббота, воскресенье.

Он разворачивается и уходит. Зелёный след гаснет, как затухающий уголёк.

— Что он имел в виду? — спрашиваю я. Голос тонкий, как проволока. — «Ты не выбирала»?

— Ничего. — Лир отрезает. — Не верь Корням. Они говорят красиво, чтобы оторвать тебя от силы. Как психотерапевты без лицензии. Он хочет, чтобы ты разорвала контракт. Но если разорвёшь — я умру. А ты останешься овощем. Пустота, стерильность. Потом сойдёшь с ума от перегрузки.

— Ты врёшь.

— Я никогда не вру, Алина. — Он подходит ближе, от него веет холодом, как из морозилки. — Я умалчиваю. Это разные вещи.

Я смотрю на дверь, за которой исчез Данила. Потом на Лира.

— Где здесь туалет?

— Слева по коридору. Не задерживайся.

3

В туалете клуба пахнет хлоркой и кровью. Не метафорой. Кровью — свежей, железной, с кисловатым привкусом, который чувствуется даже носом. И дешёвым освежителем, который пытается перебить, но не может.

Я лью воду из крана. Тёплая, ржавая, тонкая струйка. Смотрю в разбитое зеркало.

Моё отражение — не моё. Оно моложе, свежее, без морщин, без заед. Но глаза — как у человека, который видел смерть. Который стоял на краю. Тени под ними — не синяки, а провалы. Я провожу пальцем по скуле — кость проступает резче, чем месяц назад. Сила жрёт не только эмоции. Она жрёт тело.

— Ты в порядке? — голос из соседней кабинки.

Я вздрагиваю всем телом, как лошадь, увидевшая змею. Сердце пропускает удар, потом догоняет, стучит в горле.

Выходит девушка. Лет двадцать, может, двадцать два. Короткие розовые волосы — не крашенные, такие от природы? — пирсинг в губе, в носу, в брови. На руках — шрамы. Не порезы. Узоры: линии, спирали, закорючки, выжженные на коже. Светятся тусклым коричневым светом, как старая медь.

— Нормально, — отвечаю я. Голос хрипит.

— Ты новая. Я тебя не видела. — Она подходит к раковине, моет руки долго, с мылом. — Синт?

— Да. Лир.

— Охреть. — Она свистит — тонко, пронзительно. — Старый Лир? Который до Разрыва? Который сжёг пол-Москвы в девяностых?

— Не знаю. Может.

— Меня зовут Рита. У меня Ржавь. Два года контракта. — Она показывает шрамы. — Цена. Каждый раз, когда использую силу, тело гниёт. Кожа чернеет, отслаивается, пахнет тухлятиной. Потом регенерирует. Веселуха.

— Как ты выдерживаешь?

— Никак. — Рита усмехается — криво, почти безумно. — Сдохну через год. Два, если повезёт. Но пока кайфую. Могу заставить ржаветь что угодно. Замки, цепи, кости. Однажды человека — он рассыпался за три минуты. Как пряник.

Я молчу.

— Ты к кому? — спрашивает она.

— Просто посмотреть.

— Смотри, но не влюбляйся. — Рита вытирает руки о джинсы. — В этом клубе все — чьи-то рабы. Мы и Эхо. Только никто не говорит, кто чей. Маски.

Она уходит — оставляя запах розы и формальдегида.

Я остаюсь одна. Смотрю в зеркало. Моё отражение улыбается — но я не улыбаюсь. Его глаза блестят — мои тусклые.

— Выходи, — зовёт Лир из коридора. — Я чую Шёпота. Кто-то следит.

Я выхожу. Коридор пуст. Только гул из зала — низкий, в костях.

Мы возвращаемся. Лир сажает меня за столик в углу — у стены, чтобы никто не подошёл со спины. Садится напротив. Теперь он видим даже без зеркала, если присмотреться: полупрозрачное пятно в форме человека. Как стекло, на которое подышали.

— Кто следил?

— Не знаю. Шёпоты не нападают в лоб. Они воруют тайны. Продают. Завтра кто-то узнает твоё имя, адрес, номер карты, размер трусов.

— Пусть. Мне нечего скрывать.

— У каждого есть что скрывать. — Лир наклоняется. — Ты, например, ненавидишь Андрея. Мечтаешь, чтобы он умер. Чтобы не храпел, не вонял чужими духами, не врал. После смерти матери ты хотела покончить с собой.

Я замираю. Воздух становится бетоном.

— Откуда ты знаешь?

— Твои мысли. Я питаюсь эмоциями, но мысли — упакованные эмоции. Я слышу всё. Каждое «когда это кончится». Каждую ночь, когда ты считаешь трещины на потолке.

— Это нарушение приватности.

— Нет приватности. — Лир усмехается. — В контракте мелким шрифтом было: носитель соглашается на полный доступ. Ты не читала.

— Потому что не было никакого шрифта. Ты сказал «просто да».

— Вот. Не жалуйся.

Я сжимаю кулак под столом. Ногти впиваются в ладонь — остро, больно, хорошо. Хочется ударить. Но рука проходит сквозь его плечо — и я чуть не падаю.

— Не пытайся, — усмехается он. — Пока я не наберу силу, ты не коснёшься меня. А я не наберу, пока ты не испытаешь настоящий оргазм. Не тот жалкий с Андреем раз в месяц. Настоящий — когда мозг плавится.

— Пошёл на хуй.

— Обязательно. Но сначала — величие. — Он смотрит. — Ты готова, Алина?

Я встаю. Ноги трясутся.

— Я ухожу.

— Уходи. — Лир не двигается. — Но запомни: каждый здесь — жертва или хищник. Ты ещё не решила. А время идёт.

4

Домой я возвращаюсь в седьмом. Андрея нет — смс: «Задержусь, не жди». Как всегда. Я открываю холодильник, беру банку энергетика — холодную, скользкую от конденсата. В голове каша, вязкая, горячая.

Лир материализуется на диване. Сегодня он устал — форма менее плотная, свечение тусклое, как экран на минимальной яркости, по краям рябь.

— Ты тратишь энергию, когда показываешься, — замечаю я.

— Да. Но в «Пепле» нужно демонстрировать силу. — Он откидывается. — Стоит показать слабость — съедят. Как пираньи.

Я сажусь в кресло напротив. Два метра — безопасная дистанция.

— Расскажи о Даниле. Правду.

Лир вздыхает. Я не знала, что Эхо умеют вздыхать. Звук — как скрип половицы под чужим весом.

— Корни — это Эхо любви. — Он говорит медленно. — Самые редкие. Самые слабые — настоящая любовь хрупка, как паутина. Данила — носитель уже три года. Выжил, потому что он урод. Он исцеляет не любовью — болью. Чтобы вылечить чужую рану, он принимает её на себя. Порезал палец — он чувствует. Потерял близкого — он чувствует. Это убивает его.

— Он пытался меня спасти?

— Он всегда пытается всех спасти. Проклятие. Корни не могут пройти мимо страдания. Лезут в каждую дыру. И гибнут. Тот, кто был до Данилы, продержался полгода. Этот — три года. Нелюдь.

— Может, он сильный.

— Сильные долго не живут, Алина. — Лир открывает глаза. В них пустота. — Выживают хитрые. Или мёртвые.

Я смотрю на руки. Сила теплится под ногтями — золотое свечение, видимое только мне. Я могу заставить Лира замолчать. Могу заставить Андрея приползти. Могу стать королевой. Но что-то внутри — маленькое, зелёное, как мох — шепчет: не надо.

— Завтра тренируемся, — говорю я. — Но не в клубах.

— Как скажешь. — Лир кивает. — Ты босс. Пока.

5

Ночь проходит.

Андрей приходит под утро, когда небо начинает светлеть. Пахнет чужим парфюмом — сладким, цветочным, дешёвым. И сигаретами — не его маркой. Он бросил три года назад, после предракового состояния. Я слышу, как он снимает обувь, бросает ключи, шаркает в ванную. Вода течёт минуту. Потом он падает на кровать, даже не раздеваясь. Храпит через пять секунд.

Я лежу рядом. Смотрю в потолок. Считаю трещины.

— Ты можешь убить его, — шепчет Лир из угла. — Остановить сердце. Он даже не проснётся.

— Зачем?

— Чтобы начать новую жизнь. Без груза. — Его очертания мерцают. — Ты не любишь его. Он был просто удобным. Тёплым. Старой кофтой.

— Я никого не люблю. — Я говорю в потолок. — Ты выжиг это чувство.

— Я не выжигал. — Лир садится на край кровати, она не прогибается — он слишком лёгкий. — Ты сама закопала его. Глубоко. На кладбище, где все твои надежды. Я просто пришёл и плюнул на могилу.

Я закрываю глаза. В темноте век — зелёный свет. Данила, его лицо, его рука. «Ты умрёшь, Алина».

— Заткнись, Лир. Дай поспать.

Он замолкает. Храп Андрея, моё дыхание. Но я не сплю. Я думаю о том, что сказал Данила: «Ты не выбирала». О том, что Лир пережил десятки. Все мертвы. Контракт — не сделка. Ловушка.

Я думаю о зелёном свете. О том, что Данила — единственный, кто говорит правду. А потом — о том, как впервые увидела глаза Лира в зеркале. Как легко согласилась. Что, может, выбора не было. С самого начала.

Я засыпаю под утро. И впервые после контракта мне снится сон.

Зелёный лес. Трава мягкая, как шерсть, пружинит под ногами. Неба нет — вместо него густая листва, пропускающая рассеянный свет, как сквозь старую простыню. Я иду босиком, почва тёплая, пульсирует — я чувствую сердцебиение земли.

Впереди — фигура. Данила. Он стоит на коленях, руки связаны корнями. Не враждебно — он часть леса, вырос из этого места. Корни оплетают запястья, щиколотки, шею — нежно, почти ласково.

— Иди сюда, — говорит он тихо, спокойно. — Я не кусаюсь.

Я подхожу. Трава щекочет ступни. Воздух пахнет мятой и медом.

— Ты во сне, — говорит он. — Корни могут связываться с другими Пробуждёнными через сны. Лир не услышит.

— Зачем тебе это?

— Ты умрёшь, Алина. — Он произносит это как диагноз. — Не завтра, не через месяц. Но он убьёт тебя. Как убил всех. Он не говорит, что носители становятся частью него? Ты будешь жить внутри. Без тела, без голоса, без мыслей. Просто кусок эмоции, который он переваривает.

— Ты можешь остановить?

— Попробую разорвать контракт. — Данила сжимает корни, те пульсируют. — Это больно. Ты потеряешь память. Часть себя. Но выживешь.

— Какой ценой?

— Ты будешь ненавидеть меня. — Он улыбается грустно. — Я заберу силу. Без неё ты снова станешь никем. Без подписчиков, денег, Андрея, Лира. Просто девочка, которая стригла, пока не сломалась.

Я молчу. Лес пульсирует — огромный живой организм.

— Подумай, — говорит Данила. — Неделя. Потом поздно.

Лес комкается, сворачивается, гаснет как экран старого телевизора. Я просыпаюсь в своей постели. Андрей храпит рядом. Лир стоит в углу, смотрит — глаза светятся тускло, угли догорающего костра.

— Ты говорила во сне, — говорит он. — Я чую Корня. Он был здесь.

— Показалось.

— Не ври. — Лир шагает вперёд, комната холодеет. — Ты плохо врешь. Мысли пахнут ложью — дешёвыми духами.

— А ты хорошо убиваешь. — Я сажусь. Андрей не просыпается. — Мы квиты.

Лир молчит. Минуту. Потом улыбается — впервые по-настоящему, не кривой усмешкой. С искрами в глазах.

— Мне нравится твой характер. — Он говорит почти тепло. — Обычно носители плачут. Молятся. Зовут маму. А ты огрызаешься.

— Я не умею плакать. — Я смотрю на руки. — Ты приложил руку.

— Нет. — Он качает головой. — Ты перестала плакать в десять. Когда мать сказала, что ты ошибка. Я только убрал осколки.

Я отворачиваюсь к стене — холодной, шершавой, пахнущей краской.

— Отъебись, Лир.

— Сладких снов, Алина. — Его голос тает. — Завтра учимся боли. Я обещал.

Я закрываю глаза. Под веками — зелёный свет. Тёплый, живой. Шёпот: «Подумай. Неделя».

Я засыпаю. И впервые не знаю, чему верить — холоду или теплу. Лиру или Даниле. Может, правы оба. Может, никто.

Но одно я знаю точно: боль не врёт. Она останется, когда иллюзии сгорят.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.